

вторая половина XIX – первая треть XX века

Н.И. Платонова

ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В РОССИИ



Надежда Платонова

**История археологической
мысли в России.**

**Вторая половина XIX –
первая треть XX века**

«Нестор-История»

2010

УДК 902
ББК 63.3

Платонова Н. И.

История археологической мысли в России. Вторая половина XIX – первая треть XX века / Н. И. Платонова — «Нестор-История», 2010

ISBN 978-5-98187-619-6

Книга посвящена истории археологической мысли в России второй половины XIX – первой трети XX в. Идеи, представления и подходы ученых-археологов рассматриваются в ней на широком историческом фоне, в контексте событий, происходивших в сферах политики, философии, экономики и т. д. История научных идей органично сочетается в книге с историей людей, двигавших науку вперед. Привлечение широкого круга новых архивных источников позволило автору переосмотреть целый ряд устоявшихся стереотипов отечественной историографии. Книга рассчитана на специалистов – археологов и историков, студентов гуманитарных факультетов, а также на широкий круг читателей, интересующихся проблемами отечественной археологии и истории.

УДК 902
ББК 63.3

ISBN 978-5-98187-619-6

© Платонова Н. И., 2010
© Нестор-История, 2010

Содержание

Предисловие	6
Глава 1. Источники. Методы. Подходы	8
1.1. Вводные замечания	8
1.2. Источники, основные понятия и методы исследования	11
Глава 2	18
Глава 3	41
3.1. Различные «концепции» в русской археологии второй половины XIX в.: взгляд современника	41
3.2. Общественная подоснова развития «национальной археологии» и ее особенности в России второй половины XIX в.	42
3.3. Основное противоречие русской археологии третьей четверти XIX в.	45
3.4. Русская археология или «археология русских»? М.П. Погодин, И.П. Сахаров, И.Е. Забелин, А.С. Уваров	47
3.5. «Винкельмановское» направление в русской археологии и начало разработки национальной тематики: С.Г. Строганов, Ф.И. Буслаев	54
3.6. Разработка идеологии и методологической базы исследований первобытных древностей России: К.М. Бэр	61
3.7. Изучение первобытности в контексте исследования национальных древностей России: роль русских немцев в этом процессе	68
3.8. Заключение	71
Глава 4	72
4.1. Гуманитарная исследовательская платформа в русской археологической науке	72
4.2. «Скандинавский подход» в русской археологии 1860–1870-х гг.: Л.Ф. Радлов, П.И. Лерх	75
4.3. Историко-бытовая школа в археологии: 1850–1880-е	81
4.3.1. «Бытописание» или история культуры?	81
4.3.2. Попытки определения археологии как науки в 1860–1870-х гг.: А.С. Уваров, И.А. Забелин, П.В. Павлов	82
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Надежда Игоревна Платонова История археологической мысли в России. Вторая половина XIX – первая треть XX века

© Н.И. Платонова, 2010

© Издательство Нестор-История, 2010

*Моим родителям – Игорю Сергеевичу и Марии Васильевне
Платоновым – с любовью*

Предисловие

Эта книга представляет собой попытку по возможности объективно описать и проанализировать историю археологической мысли в России начиная с момента сложения представлений об археологических остатках как национальном достоянии. Именно тогда началось развитие собственно *научного*, а не антикварного подхода к памятникам. В нашей стране период возникновения и формирования научной археологии падает на середину XIX в. (разумеется, вне сферы классических древностей, где это произошло раньше).

Верхней хронологической границей настоящего исследования является середина 1930-х гг., когда ситуация в гуманитарных дисциплинах коренным образом меняется. По причинам вненаучного характера деятельность целого ряда важных направлений археологической мысли тогда оказалась прервана или трансформирована. Мне показалось логичным довести рассмотрение материала именно до этого периода ввиду качественных перемен, которыми он ознаменован.

Именно тогда, на рубеже 1920–1930-х гг., в СССР началось формирование историографической концепции, согласно которой археологическая наука в России предшествующего периода объявлялась весьма отсталой (господство «ползучего эмпиризма»), а первые серьезные научные обобщения появились в отечественной археологии лишь в результате экспансии марксизма в 1930-х гг.

На протяжении многих десятилетий за этой концепцией стояла мощная пропагандистская машина, подчинившая себе всю систему археологического образования, и с некоторыми оговорками, и научную практику. Задачей ее было обеспечивать поддержку данному варианту *идеологического мифа*, широко распространённого в тоталитарную эпоху – об ущербности буржуазной науки и благотворных последствиях внедрения марксизма.

В ходе работы над книгой мною были выявлены новые данные, показавшие несостоятельность указанной агрессивной концепции. Между тем влияние ее на последующие поколения археологов было огромным и ощущается по сей день. Сложившиеся мифологизированные представления, даже при критическом к ним отношении, оказывают определенное воздействие на воззрения ученых. Это заметно мешает выработке адекватных оценок прошлого нашей науки.

С другой стороны, начиная с рубежа 1980–1990-х гг. и по настоящее время у многих историографов обозначился «крен» в противоположную сторону – тенденция изображать тридцатые годы периодом тотального разгрома отечественной археологии и решительного разрыва всех наиболее перспективных научных традиций. В ряде ранних работ я сама отдала дань этому веянию, но более глубокая проработка материала заставила меня скорректировать свою позицию. В действительности имели место и разгром, и репрессии против ученых. Но наука осталась жива. Археологи сумели частично восстановить оборванные связи, частично – перенаправить острие исследований в новые области.

Выводы, предлагаемые ныне на суд читателя, базируются на обширном материале – научных публикациях, заметках периодической печати, мемуарной литературе, опросных данных и достаточно широком круге архивных источников. В частности, в книге использованы материалы, собранные в архивах Российской Академии наук (Санкт-Петербургского отделения), Российского Этнографического музея, Музея антропологии и этнографии РАН, Института антропологии при МГУ, Государственного Исторического музея, Управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также материалы семейного архива Бонч-Осмоловских, находящегося в личном ведении автора.

Модель, созданная мною, вероятно, имеет и слабые места, и досадные пробелы. Но для меня важно другое – чтобы эта модель оказалась *работающей*, реально способствующей

пониманию логики развития археологической мысли (и науки в целом!) в нашей стране. Тогда все пробелы постепенно заполнятся сами собой.

Стоит сказать несколько слов о языке работы. В 1990–2000-х гг. в исторической науке стала прогрессировать тенденция к сугубому усложнению языка и введению в него необозримого количества специальных терминов из области социологии, психологии, философии и т. д. В результате целый ряд современных исследований по историографии и науковедению оказывается понятен лишь узкому кругу «посвященных». Я предпочитаю не следовать этой модной тенденции. Запутанность изложения либо служит прикрытием пустоты содержания, либо отражает путаницу в головах самих авторов. Поэтому в своей работе я стараюсь, по возможности, не использовать квазинаучный воляпюк, а выражаться по-русски.

В заключение выражаю самую теплую признательность постоянным участникам Семинара по истории и историографии археологической науки при Музее истории С.-ПбГУ – И.Л. Тихонову, И.В. Тункиной, В.Ю. Зуеву, Н.Н. Жервэ. Это наше молодое, полное сил и надежд содружество конца восьмидесятых – девяностых сделало возможным те серьезные обобщения, которые появляются теперь в наших книгах.

Я благодарна ныне уже ушедшим от нас А.Н. Анфертьеву, А.Г. Бонч-Осмоловскому, С.Н. Бибикову, П.И. Борисковскому, Ф.Д. Гуревич, Г.С. Лебедеву, В.М. Массону, В.И. Осмоловской, П.И. Раппопорту, Н.А. Спицыной, А.А. Формозову за то, что в разное время они делились со мною и воспоминаниями, и научным опытом. И то и другое впоследствии оказалось очень важно.

Я признательна всем моим коллегам, поддерживавшим меня советом и деловой критикой в период подготовки материалов и непосредственной работы над этой книгой – в первую очередь, М.В. Аниковичу, С.В. Белецкому, С.А. Васильеву, А.П. Деревянко, А.Н. Кирпичникову, Л.С. Клейну, В.П. Корзун, С.В. Кузьминых, Ю.М. Лесману, Н.А. Макарову, О.М. Мельниковой, А.Е. Мусину, Е.Н. Носову, О.С. Свешниковой, А.Н. Цамутали, Я.А. Шеру, М.В. Шунькову.

Финансовая поддержка на разных этапах выполнения этой работы была получена от Российского Гуманитарного научного фонда по проектам № 96-01-00125а (1996–1997) и № 99-01-00247а (1999–2001), а также от Фонда Сороса по проекту RSS No.: 755/1997 (1997–1999) и Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности России» (2009–2010).

*Доктор исторических наук
Н.И. Платонова*

Глава 1. Источники. Методы. Подходы

1.1. Вводные замечания

В 1960–1970-х гг., в отечественной археологической литературе отчетливо обозначилось направление, рассматривающее историю науки как исторически обусловленную культурную форму – один из аспектов истории культуры. На первом плане оказалась творческая индивидуальность ученого, обрисованная на широком фоне, в едином контексте с событиями, происходившими в сферах политики, философии, этики, эстетики и т. д. Достаточно долго это направление развивалось изолированно, в основном трудами А.А. Формозова (1961; 1979; 1983; 1984 и др.). В конце 1980-х гг. оно получило приток новых сил.

На пике «перестройки» конец жесткого идеологического контроля и резкое расширение информационных возможностей стимулировали смену парадигм в гуманитарной области. Открылось новое научное поле, новый комплекс источников, новые перспективы историографического исследования и публикации источников. Результатом стала радикальная переоценка многих явлений и процессов, происходивших в отечественной археологии XIX–XX вв.

Развитие историко-научного направления в наши дни сопровождается многочисленными попытками оформить его теоретически, четко осознать истоки, функции и задачи указанного подхода, который вначале проявился совершенно спонтанно, явив собой своеобразное сочетание научного и эстетического, художественно-исторического познания прошлого. Элементы последнего, в той или иной степени, не могут не присутствовать в исторических реконструкциях образов науки прошлого, и в особенности в обрисовке образов конкретных ученых – во всей неповторимости их личностных характеристик.

Современная историография рассматривает поиски в данной области в русле глобального «антропологического поворота» в мировом гуманитарном знании в конце XX в. Главным признаком его считается введение в историю науки «субъективной составляющей»: «Историческая наука совершила стремительный поворот от концепций, которые создают ученые, к ученым, которые создают концепции...» (Свешникова, 2006: 472). Достигается это через конкретно-исторический подход к материалу, обогащенный наработками многочисленных смежных дисциплин (биографика, социология и философия науки, социальная психология, культурология, литературоведение и т. д.). Разработка методик синтеза и осмысления указанных материалов с целью построения исторических реконструкций представляет собой одну из актуальнейших проблем современной исторической науки.

Предметом настоящего исследования является развитие *археологической мысли* второй половины XIX – первой трети XX в., понимаемое как эволюция и трансформация комплекса общих представлений и методических подходов, применявшихся в данной области знания. Выражение «история археологической мысли» представляет собой русскую кальку с английского «*a history of archaeological thought*». В России это понятие стало особенно употребляемым после выхода в свет одноименной монографии Б. Триггера (Trigger, 1989). Данный термин стал удачной находкой, ибо по смыслу он отнюдь не адекватен «истории теоретических исследований в археологии». Наряду с общим смысловым полем налицо и явные различия.

В археологической науке, как и в любой другой, пики теоретической активности неизбежно перемежались с периодами спадов. Однако редкость или отсутствие публикаций собственно *теоретических* разработок вовсе не означало, что археологи на практике переставали руководствоваться определенной парадигмой, не делали попыток определить суть

своих подходов к материалу и т. д. Причины зачастую лежали в иных областях. Иногда – в сфере политики, резко ограничивавшей возможность публичного обсуждения теоретических позиций. Иногда свою роль играли просто стереотипы поведения в ученых кругах, сложение которых (как и изменение) всегда вытекало из логики развития науки и характера ее первостепенных задач на том или ином этапе.

К примеру, в конце XIX – начале XX в. в российской исторической науке считалось вполне нормальным переносить обсуждение методов в устную сферу, в то время как в печати зачастую обсуждались лишь опыты их *приложения* к конкретному материалу. Основополагающим «методом» исследования признавалось исчерпывающее знание фактов. Предварять свою работу специальным методическим разделом считалось даже не совсем приличным. Разумеется, все основные научные *credo* своевременно обсуждались и формулировались. Но при этом они редко излагались систематически, а публиковались и того реже. Случалось, принципиально важные идеи высказывались в печати мимоходом – в рецензии на новую книгу, в нескольких строчках введения или комментария, в лаконичных заметках журнальных «Хроник». А нередко историк находит их только в рукописях – в письмах, стенограммах, набросках к лекциям и т. д.

Но было бы наивно на этом основании полагать, что позитивистская и неопозитивистская историческая наука, доминировавшая и в Западной Европе, и в России во второй половине XIX в., не имела в своем распоряжении развитого теоретического отдела. Имела! И все серьезные ученые, работавшие с конкретным материалом, прекрасно знали о положении дел в этой области. Сферы «теории» и «практики» в исторической науке изначально были тесно переплетены. По меткому выражению З.А. Чеканцевой, «<...> теория сегодня – это своего рода ящик с инструментами. Историки изобретательно комбинируют имеющиеся в их распоряжении средства в целях решения конкретных исследовательских задач...». По словам Ж. Делеза, «*практика оказывается совокупностью переходов от одного пункта к другому, а теория – переходом от одной практики к другой...*» (Чеканцева, 2005: 65).

Так обстояли дела и в прошлом – не только в России, но повсеместно. Интерес к археологии во все времена был неотделим от интереса к древней истории человечества. А любая *историческая теория* есть, в сущности, критика и оценка современного ей общества. «Всякое общественное учение должно выстроить себе исторические подмости, должно истолковать и прошлое...» (Виппер, 2007: 10). В результате, именно идейная среда, определявшая мировоззрение ученых, служила той почвой, из которой вырастали многие теоретические, методологические новации. В основе принципиально новой платформы того или иного конкретного исследования чаще всего оказывались не строго научные теоретические разработки, а «носящиеся в воздухе» общеполитические, общеправовые идеи.

Напомню: «система трех веков» первоначально вошла в науку без всякого теоретического обоснования. В основе ее лежало, с одной стороны, решение сугубо прикладных задач экспозиции археологических материалов в музее Копенгагена, с другой – самые общие представления о прогрессе культуры и разума, унаследованные отчасти от эпохи Возрождения, реанимировавшей философские идеи античности, отчасти – от века Просвещения.

Британский офицер О.Г. Лэн Фокс (более известный под именем Питт-Риверса) «набрел» на идею эволюции в культуре совершенно самостоятельно, ознакомившись, по заданию командования, с историей усовершенствования старинного английского мушкета. «...Он был поражен постепенностью изменений, с помощью которых усовершенствование достигалось... Подметив неизменную правильность этого прогресса постепенной эволюции в отношении к огнестрельному оружию, он был наведен на мысль, что те же принципы должны, вероятно, господствовать и в развитии других ремесел, искусств и идей человечества...» (Анучин, 1952: 198).

Результатом указанного «практического» наблюдения стало многолетнее собирание этнографических и археологических коллекций, зримо иллюстрирующих идею «постепенного прогресса». Эти коллекции очень пригодились другому ученому – уже *теоретику* эволюционизма в этнологии – Э.Б. Тайлору. Однако утверждение, что выкладки Питт-Риверса «базируются на дарвинизме» (Лебедев, 1992: 116), ошибочно. Идея пришла ему в голову на рубеже 1840–1850-х гг., почти за 10 лет до выхода «Происхождения видов». Тогда он и начал свою работу по сбору коллекций.

Важнейшие положения таких основоположников диффузионизма, как, например, Л. Фробениус и У. Риверс, разбросаны по страницам их вполне «эмпирических» работ по африканской и меланезийской этнографии. И это совершенно естественно: только «эмпирики», то есть этнологи-профессионалы, досконально владевшие фактическим материалом и активно его приумножавшие, могли в начале XX в. сказать в данной области нечто новое. Список можно продолжить и далее. Но уже приведенные примеры ясно показывают: теоретические, методологические новации чаще всего возникают в науке внезапно, как данность. С другой стороны, подчеркнутая приверженность «эмпирии», «фактопоклонничеству» нередко являлись не отражением теоретической и методологической беспомощности, а своеобразной реакцией на предшествующее засилье «схематизма» и «теоретизирования». Именно такая ситуация сложилась в русской исторической науке на рубеже XIX–XX вв., когда прежние позиции государственной и историко-юридической школ начали вызывать отторжение у ученых нового поколения. По их мнению, они превращали данные источников в «иллюстрации готовой, не из них выведенной схемы» (Пресняков, 1920б: 7). В противовес им, ученики С.Ф. Платонова, А.С. Лаппо-Данилевского, Н.П. Кондакова, В.Р. Розена, А.А. Спицына «видели свою задачу, прежде всего, в том, чтобы *восстановить, по возможности, права источника и факта* (курсив мой. —Н.П.)» (Брачев, 2001: 88).

Теоретические позиции многих русских археологов конца XIX – первой трети XX в. (А.А. Спицына, А.А. Миллера, С.И. Руденко, Г.А. Бонч-Осмоловского, М.П. Грязнова и др.) ныне приходится формулировать задним числом по косвенным данным путем специального анализа их конкретных работ, а также рукописного, эпистолярного, публицистического и иного наследия (Платонова, 1997; 2002; 2002а; 2004; 2004а и др.). Однако археологическая мысль того периода развивалась весьма динамично и плодотворно, что и будет показано ниже в ходе изложения конкретного материала.

1.2. Источники, основные понятия и методы исследования

Хронологические рамки работы обусловлены стремлением рассмотреть развитие основных научных школ в отечественной археологии с периода их формирования до того переломного исторического момента, каковым явилась первая половина 1930-х гг. Нижняя хронологическая граница исследования обусловлена тем, что в середине – третьей четверти XIX в. в России определились все основные направления, по которым шло развитие отечественной археологии в дальнейшем. Практически на каждом из них в поле были сделаны открытия мирового значения. На повестку дня встали вопросы о статусе, задачах и средствах археологической науки, а также дальнейшая разработка методики исследований (Лебедев, 1992: 159–162).

Деятельность многих российских ученых, ставших основателями научных школ и направлений в отечественной археологии начинается именно в этот период. Пики активности их могут приходиться на 1850–1870-е гг. (А.С. Уваров, И.Е. Забелин), 1880–1900-е (В.Р. Розен), 1880–1910-е (Н.П. Кондаков, Д.Н. Анучин, А.А. Спицын, А.С. Лаппо-Данилевский), 1890–1920-е (В.А. Городцов, Б.В. Фармаковский), 1900–1910-е (Ф.К. Волков, М.И. Ростовцев), 1910–1920-е годы (А.А. Миллер, Б.С. Жуков) и т. д. Таким образом, третья четверть XIX в. – это тот период, с которого началось появление в российской археологии целой серии крупных имён. Далее вокруг них неизбежно появлялись ученики, более или менее сплочённые научные кружки и собственные «школы».

Верхней хронологической границей исследования является эпоха Великого перелома, которая коренным образом изменила всю ситуацию в отечественной науке вообще и в гуманитарной сфере в частности. Деятельность целого ряда научных направлений в археологии оказалась тогда прервана или в значительной мере трансформирована. Поэтому вполне логичным представляется довести рассмотрение материала именно до этого периода – в силу качественных изменений, происшедших тогда в археологической науке.

Поиск, предпринятый в архивах, позволил выявить факты, позволяющие по-новому осветить ряд процессов, происходивших в отечественном гуманитарном знании в рассматриваемый период. Весьма продуктивным оказался анализ материалов по личному составу археологических учреждений и различного рода стенограмм. Особняком стоят дневниковые и эпистолярные документы, а также неопубликованные мемуарные произведения. Наконец, ещё одна важнейшая категория источников требует особого упоминания. Это рукописи научных работ, проспекты к ним, материалы к лекционным курсам, тезисы и резюме докладов, то есть все то, что так или иначе не попало в печать, но, безусловно, напрямую характеризует развитие археологической мысли. Материалы этого круга позволяют в ряде случаев довольно сильно скорректировать сложившиеся представления о русской археологии рассматриваемого периода.

Публикации второй половины XIX – первой трети XX в. представляют собой важнейший источник по истории археологической мысли в России. Многие из них в дальнейшем «выпали» из научного оборота и содержат почти уникальную информацию. Однако этот источник, как и любой другой, бывает и лукав, и неоднозначен. Публикации, особенно полемические, требуют приложения достаточно изощренных методов научной критики. Как это ни парадоксально звучит, но порой важнее понять, о чём они старательно умалчивают, нежели усвоить, что говорится в них напрямую.

На начальной, источниковедческой ступени исследования потребовалось определить последовательность сбора и использования обширного архивного материала, уяснить значение различных комплексов архивных источников, а также характер отражения одних и тех

же фактов и процессов в разных категориях документов (например, в стенограммах, газетных публикациях и эпистолярном наследии). В настоящий момент представляется наиболее продуктивным опираться, по мере возможности, на более-менее *цельные комплексы однотипных архивных источников*, отражающих историческое развитие отдельных явлений за известный период времени. К комплексам такого рода, учтенным в данной работе, относятся, например, серии стенографических отчетов общих собраний сотрудников РАИМК/ГАИМК и стенограмм заседаний ее Правления и Совета. Результативным оказался и анализ цельного комплекса документов по аспирантуре ГАИМК и т. д.

Как важнейший инструмент собственно исторического исследования, в работе используется *конкретно-исторический подход*, представляющий собой рассмотрение и анализ реконструированных исторических фактов в их временном, пространственном и социокультурном контекстах. При обрисовке позиций ведущих ученых широкого применяется *биографический метод*, получивший в последние 20 лет широкое распространение в трудах историков (Платонова, 1995; 1998; 1999; 2002; 2002б; 2002в; 2003; 2006 и др.; Репина, 1999; 2001; Румянцева, 2001; Kaeser, 2004). В настоящей работе он используется в качестве одного из основных. Его применение подразумевает такие приемы, как: а) реконструкция процесса становления ученого-профессионала в контексте субъективного сочетания его личностных характеристик и факторов этического, религиозного, социального, культурного характера; б) логическая реконструкция научно-исторической концепции данного исследователя; в) сравнительный анализ образцов и биографических реалий разных ученых одного поколения.

На конкретно-исторической ступени исследования в работе используется комплекс методов и понятий, разработанных в области культурологии, социологии науки, науковедения и т. д. Труды А. Койре, К. Поппера, Т. Куна и др., вышедшие в свет во второй половине XX в., произвели настоящий переворот в представлениях о развитии научного знания. На практике это выразилось в широком распространении ряда принципиально новых идей. К последним, в частности, относится понятие «исторической целостности» образа науки, представляющее науку того или иного периода как систему идей и концепций, принятых научным сообществом в определенном историческом контексте и во взаимосвязи с идеями *непосредственных* предшественников и *непосредственных* преемников (Кун, 2003: 21).

Стоит отметить, что эта идея, получившая ныне признание и считающаяся последним словом мировой науки, серьезно разрабатывалась в России еще в 1900-х гг. выдающимся философом истории А.С. Лаппо-Данилевским. Уже тогда он, в частности, указывал, что научная мысль требует рассмотрения в генезисе, в зависимости от конкретных условий данного периода и сквозь призму того значения, которое придавали ей сами ее создатели (ср.: Корзун, 1989: 69). Однако забвение трудов А.С. Лаппо-Данилевского в советское время привело к тому, что лишь мизерная часть его историографических трудов оказалась опубликована. Те, что успели попасть в печать в 1900–1920-х гг., не были оценены по достоинству в первой половине – третьей четверти XX в. В результате работы Александра Сергеевича по философии и теории истории, включая источниковедение вещественных – то есть археологических – памятников, сами по себе явились научным открытием уже нашего времени – конца XX – начала XXI в.

Под «научным сообществом», согласно М. Полани и Т. Куну, подразумевается группа ученых, работающих в одной предметной, проблемной или дисциплинарной области и связанных друг с другом системой научных коммуникаций (Купцов (ред.), 1996: 382–385). Кроме того, Т. Куном были введены такие, ставшие ныне классическими понятия, как «парадигма», «нормальная наука», «научный кризис» и «научная революция». Все они тесно связаны между собой, ибо отражают единый комплекс представлений о развитии научного знания.

Под *парадигмой* здесь подразумевается некая модель или упорядоченная совокупность идей, методов, правил и норм, которая определяет концептуальные рамки исследований каждого данного периода. Эти концептуальные рамки являются обязательным условием функционирования *нормальной науки*, которая, работая в заданном ими направлении, углубляет и совершенствует научные знания в конкретных областях. По мере решения своих задач нормальная наука неизбежно сталкивается с противоречиями, не укладывающимися в заданные концептуальные рамки. Нарастание этих противоречий обуславливает начало *научного кризиса*. Наконец, когда выявленные противоречия становятся окончательно невозможно согласовать с традицией, наступает *научная революция*. Выдвигается новая концепция – новая парадигма, лучше объясняющая, с точки зрения научного сообщества, накопившиеся факты и открывающая новые области и перспективы исследований. В силу этого она принимается на веру – до тех пор, пока новые факты, не укладывающиеся в схему, не заставят пересмотреть и ее (Там же: 5–312).

В целом, я готова признать, что указанная система взглядов отражает подлинные реалии научного мышления. Однако на практике процесс исторического развития гуманитарного знания (в частности археологии) отличается своеобразием, придающим неповторимость каждому из его этапов. В современной историографической литературе уже сделана попытка описания «парадигм» мировой археологии, но, на мой взгляд, эту попытку следует рассматривать, скорее как первый подход к проблеме, чем как ее решение (Лебедев, 1992: 4 и др.). По крайней мере, часть выделенных Г.С. Лебедевым «парадигм» вполне может быть оспорена. Кроме того, на мой взгляд, не стоит искать в их чередовании строгую обязательность и периодичность. Параллельное функционирование различных парадигм не представляет собой ничего невозможного – по крайней мере, в области гуманитарного знания. Наконец, в силу особенностей формирования археологии как науки, ее развитие на определенных ступенях вообще шло в рамках разных научных сообществ – гуманитариев и естествоведов. Это обусловило независимое развитие совершенно разных парадигм и подходов – не только в рамках одной страны, но порою одного города, одного университета. Тем не менее, с поправками на конкретно-исторические реалии, указанный выше понятийный комплекс используется в моей работе в качестве важного инструмента исследования.

Из числа разработок философии истории XX в., имеющих большое значение для историко-научного исследования, я считаю необходимым особо отметить идеи **Николая Ивановича Ульянова** (1904–1985), ученого русского зарубежья, профессора Йельского университета (США), а ранее – выпускника Ленинградского университета по историко-археологическому циклу Ямфака (1927 г.), ученика С.Ф. Платонова (см. о нем: Багдасарян, 1997; Базанов, 2006: 58–77).

Н.И. Ульянов представлял развитие исторической науки в целом как параллельную разработку двух основных «историсофских сверхтенденций». Первая из них трактует развитие человеческого общества как повторяющиеся циклы и стремится к созданию универсальных схем истории – от «эпох» богов, героев и людей Дж. Вико (XVIII в.) до современных позитивистских или марксистских обобщений. В рамках этой парадигмы делаются самые различные попытки выявить «законы истории», в частности путем перенесения законов естественных наук на исторический процесс. Вторая парадигма представляет собой «гегемонию исторического факта» как носителя исторической истины. Основателем ее считают итальянского мыслителя XV в. Лоренцо Валлу, доказавшего подложность «Константинова дара» – грамоты, якобы давшей Римским Папам право быть светскими государями в Италии (Ульянов, 1981: 66–70).

Для второй парадигмы, сторонником которой являлся сам Н.И. Ульянов, характерно весьма настороженное отношение к таким понятиям, как «законы истории», «формации», «идеальные типы» и пр. Согласно этой концепции, процесс исторического развития един-

ствен и неповторим. Все попытки перенесения естественно-исторических закономерностей на человеческое общество заранее обречены на провал, ибо «все они основаны на принципе повторяемости явлений и могут быть проверены путем эксперимента. Историк же <...> никакого эксперимента позволить себе не может». По Ульянову, «никто и никогда еще не сформулировал ни одного закона истории» (цит. по: Базанов, 2006: 72). Возражения оппонентов, что накопление фактов ради них самих бессмысленно, ученый парирует тем, что вновь открытый факт порою кардинально меняет само направление исследований, их проблематику и т. п.

При этом Н.И. Ульянов вполне отдавал себе отчет в неоднозначности, «текучести» исторического факта и специфике исторических источников как таковых. Данное явление впервые было выявлено учеными неокантианской школы на рубеже XIX–XX вв. В результате анализа, проведенного ими, выявилось следующее: исторический факт не поддается непосредственному наблюдению, ибо «чужие состояния сознания», сами по себе, недоступны наблюдению историка (А.С. Лаппо-Данилевский). Ученый может лишь *делать заключения* о них по аналогии с собственным опытом. Он *реконструирует* исторические факты, оперируя не самой реальностью, а лишь ее остатками и преданием о ней. Он извлекает из источников информацию, в то же время создавая и преобразуя ее, так как источники практически неисчерпаемы и на новые изощренные методы анализа откликаются по-новому.

Указанные наблюдения верны и применительно к письменным («историческим») источникам, и применительно к источникам вещественным («археологическим»), несмотря на специфику применяемых к ним методов изучения. Н.И. Ульянов особо отмечает: понятие об историческом факте «составляется на основании письменных или археологических источников, часто очень скудных. Даже если их много, они никогда не дают полной и точной картины реального события» (Ульянов, 1981: 70).

Объектом исторического исследования, по Ульянову, является человек, его субъективное сочетание ума, воли, желаний, побуждений этического, религиозного, культурного характера, которые делают невозможными никакие «закономерности» (Базанов, 2006: 72–73). История есть специфический вид духовного творчества, «своеобразный мост между искусством и точными науками» (Там же: 76).

Принципиальное отрицание Н.И. Ульяновым позитивизма и его основных постулатов отнюдь не означало отрицания им реальных научных достижений позитивистов и неопозитивистов (в частности его непосредственных учителей С.Ф. Платонова и Е.В. Тарле) в области поиска и анализа исторических фактов. Именно «фактопоклонничество» являлось полуофициальным *credo* позитивистских и неопозитивистских научных «школ» Н.П. Кондакова, Д.Н. Анучина, Ф.К. Волкова, В.Р. Розена, в рамках которых, в частности, шло развитие отечественной археологии на рубеже XIX–XX вв. Тем не менее концепции Н.И. Ульянова нельзя отказать ни в цельности, ни во внутренней логике. В момент своего первого появления в 1960-х гг. его основные труды по философии истории не привлекли большого внимания. Зато в настоящее время они звучат весьма актуально. Продуктивность его идей в историко-научном исследовании несомненна.

Приступая к исследованию истории археологической мысли, необходимо заранее оговорить авторское понимание археологии как таковой. Я считаю возможным определять ее как *источниковедческую историческую науку* следуя в этом вопросе по стопам таких теоретиков истории, как А.С. Лаппо-Данилевский в отечественной науке и Р. Дж. Коллингвуд в зарубежной (Лаппо-Данилевский, 1910; 1913; 1923; Коллингвуд, 1980). Стоит отметить, что оба упомянутых классика исторической науки первой трети XX в. имели в археологии хорошую профессиональную подготовку и знали о специфике работы с «вещественными источниками» не только из книг.

В современной отечественной литературе указанная концептуальная позиция разрабатывается детально – хотя далеко не в едином ключе – Л.С. Клейном (1978; 1992; 1995: 75–103) и М.В. Аниковичем (1988; 1988а; 1992; 2005; 2007). Анализ противостоящей ей концепции «параллелизма» археологии и истории, тоже имеющей солидную традицию в отечественной археологической литературе, сейчас не является моей целью. Оговорю лишь один момент, связанный с ней и действительно важный в методологическом плане.

Этим моментом является неправомерность отождествления *логики научного познания*, выражающейся в системе наук, и *деятельности* познающего субъекта, исследователя (подробнее см.: Аникович, 2007). Археология как самостоятельная дисциплина со своими специфическими целями и задачами, безусловно, относится к базовой, источниковедческой ступени исследования. Однако для любого специалиста, имеющего профессиональную подготовку в области общественно-исторических наук, очевидно и другое: всякий серьезный историк должен одновременно являться источниковедом. Уровень его подготовки в данной области в значительной степени определяет степень оригинальности и глубины последующего исторического синтеза. Но какой же специалист способен соединить в одном лице источниковеда и историка применительно к дописьменному периоду истории человечества, от которого до нас не дошло ничего, кроме археологических материалов и их контекста? Видимо, только тот, кто профессионально владеет именно этим видом источников о древнейшем прошлом – *археолог-преисторик*.

Приверженцами этого взгляда, получившего во второй половине XX в. влиятельных сторонников, были, с одной стороны, представители «школы археологов-преисториков» послевоенной Германии (Г.Ю. Эггерс, Э. Вале, Р. Гахман), с другой – их оппоненты, представители «скептического направления» в Англии, понимавшие археологические источники именно как *палеоисторические* и *раннеисторические*. Виднейший из них, Г. Даниел, прямо заявлял, что «преистория и первобытная археология означают почти одно и то же» (Daniel, 1967: 24). В нашей стране данное направление археологической мысли нашло отражение в трудах В.А. Городцова, утверждавшего, что в «обширнейшем разделе» доисторической археологии «решительно нет места для счетов с историей» (Городцов, 1908: 5) и А.Н. Рогачева, считавшего первобытную археологию особой конкретно-исторической наукой (Рогачев, 1973; 1978: 18). Последнее, в сущности, означало одно: *историком первобытности может быть только сам археолог*.

Впрочем, не следует считать, что для более поздних эпох (античность, раннее средневековье и т. д.) проблема профессионализма историка в оценке археологических источников теряет всякое значение. Напротив, опыт отечественной археологии второй половины XX в. показывает: полноценные исторические реконструкции нередко оказываются возможны лишь при условии *профессионального владения* исследователя археологическим материалом. К примеру, в славистику многие свежие идеи, новые концепции приходят сейчас именно из археологического источниковедения. Подготовка историка-русиса «без археологии» поемногу становится нонсенсом ничуть не меньшим, чем, скажем, подготовка археолога-антиковеда без знания классических языков.

Важнейшим инструментом историографического исследования, применяемым в книге, является понятие «научной школы». Сразу оговорю: в современном науковедении это понятие остается дискуссионным. В настоящий момент в литературе имеется не менее 30 его определений. Установить для них единые теоретические критерии практически невозможно (Гасилов, 1977; Погодин, 1997; Мягков, 2000; Ростовцев, 2005).

В основе понятия научной школы могут лежать: разнородные политические или мировоззренческие платформы, философские взгляды, общность предметной области или метода исследования, концептуальная близость, профессионализм, связь с университетами и другими формальными коллективами и т. д. (Беленький, 1978). Чаще всего понятие «школа»

подразумевает идейную и методологическую направленность исследований, унаследованную от предшественников. В то же время так могут называть просто группу учеников какого-то видного учёного, даже если их собственные пути в науке разошлись очень далеко. В подобных случаях «школа» есть не что иное, как высокая планка, заданная примером учителя.

Смысл, вкладываемый в указанное понятие в настоящей работе, не претендует на универсальность. С моей точки зрения, основой для формирования научных школ в археологии, как правило, служит педагогическая и/или экспедиционная деятельность крупных ученых. Это важный фактор, обеспечивающий преемственность идей и подходов в ходе создания общности «учитель – ученики». Но само формирование подобной общности невозможно, если, помимо рутинной учебной или раскопной деятельности, учителя не связывает с учениками нечто особенное – то, что способно выделить их содружество на общем фоне, породить чувство сопричастности ряду научных достижений или перспектив. Поэтому на первое место среди факторов, объединяющих научную школу, должен быть поставлен не сам факт педагогической деятельности ее основателя, а принципиально новый подход его к материалу, новая концепция, новое направление в тематике исследований и т. п.

Третьим определяющим фактором является наличие формальных и неформальных каналов, по которым осуществляется оперативный научный обмен между представителями школы. Таковыми являются: объединение в исследовательские коллективы, совместная экспедиционная деятельность, взаимодействие в рамках различных проектов и т. п. Четвертым важнейшим, хотя и «вспомогательным», фактором является степень групповой сплоченности, наличие отчетливого противопоставления «мы – они» по отношению к остальной части научного сообщества. Рождению этой сплоченности способствуют такие моменты, как личные качества лидера группы; совместное противостояние ее членов каким-либо «проискам извне»; чувство цеховой солидарности; общность коллективной памяти – научного «фольклора», формирующего образ данной школы, и т. д.

Когда эти факторы так или иначе задействованы, в пределах научного сообщества образуется дополнительная сеть («сгусток») многообразных и многоуровневых связей. В рамках ее происходит постоянное брожение мысли. Там присутствуют разные виды научной преемственности в достаточно сложном переплетении. Общность такого плана я и называю *научной школой*.

Безусловно, предложенная трактовка не претендует быть единственно возможной, учитывая «крайнюю расплывчатость категории исторической школы вообще» (Ростовцев, 2005: 304). В связи с этим можно констатировать определенную идейную близость ее к работам С.И. Михальченко, в которых выход из запутанной ситуации мыслится именно через определение «иерархии критериев» в изучении феномена научной школы. На первое место среди них ставится «педагогическое общение... основателя школы и его учеников» (Михальченко, 1996: 3–16).

В ряду наработок современной социологии науки, использованных в работе, особого упоминания заслуживают идеи крупнейшего французского социолога П. Бурдьё (1930–2002) (см.: Ритцер, 2002; Шматко, 2001). Мне кажется плодотворным предложенное им понятие научного символического капитала, состоящего «в признании (или доверии коллег)», которое даруется группой коллег-конкурентов внутри научного поля. <...> Этот вид капитала частично базируется на признании компетенции, которое, помимо производимых им эффектов узнавания и частично благодаря им, придает авторитет и участвует в определении, <...> что важно, а что нет в такой-то теме, блестяще это или устарело» (Бурдьё, 2001: 56–57; см. также: Бурдьё, 2005: 473–517). Другим важнейшим положением П. Бурдьё является деление научного капитала на институциональный и «чистый». Первый – это власть, связанная «с занятием важных позиций в научных институтах, руководством лабораториями

или факультетами <...> и т. д., а также власть над средствами производства (контракты, кредиты, посты) и воспроизводства (власть назначать на должности и продвигать по службе), которую дают им высокие посты» (Бурдье, 2001: 64). «Чистый» научный капитал, по Бурдье, «приобретается, главным образом, признанным вкладом в прогресс науки, то есть изобретениями или открытиями (наилучшим показателем в данном случае являются публикации, особенно в наиболее селективных и престижных печатных органах)» (Бурдье, 2001: 65).

Идеи П. Бурдье во многом дискуссионны. Но они оказались в русле социокультурных поисков современной историографии и служат ныне теоретической основой целого ряда историко-научных исследований – отечественных и зарубежных (Дмитриев, Левченко, 2001; Рингер, 2002). Весьма интересными выглядят, в частности, представления Бурдье о внутренней иерархии научного сообщества и его трактовка конфликтов в науке как борьбы за символический капитал (Бурдье, 2001: 49–95).

К этой последней проблеме обращался и Т. Кун, анализируя научное сообщество с социологической точки зрения, выявляя механизмы его функционирования и внутреннюю структуру. Рассматривая указанный аспект развития науки, Т. Кун пришел к заключению о «значимости» конфликта в научном сообществе. Выводы его кратко можно сформулировать так: наука развивается именно через конфликты и посредством конфликтов. Плодотворный диалог между конфликтующими учеными, придерживающимися разных парадигм, невозможен (Кун, 2002; см. также: Свешников, 2005: 236–237).

Использовать перечисленные выше социологические наработки, безусловно, необходимо с некоторой оглядкой, ибо всем им свойственна тенденция к упрощению и абсолютизации какой-то одной стороны анализируемого явления. Тем не менее они учитывались мною в комплексе с другими методами в ходе исторических реконструкций.

Глава 2

Систематические обзоры и варианты периодизации отечественной археологии (середина XIX – первая треть XX в.)

Характеристика русской археологической мысли «изнутри», глазами современников, представляет для историка большой интерес. Не меньший интерес представляют все попытки обобщения и оценки пути, уже пройденного археологической наукой. Здесь я постараюсь рассмотреть и кратко охарактеризовать различные варианты периодизации отечественной археологической мысли и попытки создания ее концептуальных характеристик, в разное время появившиеся в литературе. Обзорные исследования такого рода сами по себе являются заметными событиями истории науки. Они фиксируют определенные этапы и уровни осмысления археологических исследований в нашей стране.

Систематические обзоры пути, пройденного отечественной археологией, стали публиковаться лишь с начала 1920-х гг. Впрочем, стоит отметить, что в исторической науке в целом, начало XX в. отмечено небывалым всплеском интереса к методологии исследований (ср.: Корзун, 1989: 61). Многие русские историки обратились тогда к вопросам теории и истории своей области знания (А.С. Лаппо-Данилевский, Р.Ю. Виппер, П.Н. Милюков, Д.М. Петрушевский, Н.И. Кареев, Д.Я. Багалей, В.П. Бузескул и др.). В их трудах история археологических исследований России (или ряд ее аспектов) анализировалась как неотъемлемая часть *истории отечественной исторической науки*. Но разработки такого рода стали появляться в печати не ранее 1910-х гг. Часть их вообще оставалась неизданной, как минимум, до конца XX в. Причиной тому стала радикальная смена парадигм и мировоззренческих установок в отечественной исторической науке рубежа 1920–1930-х гг.; именно она сделала невозможными не только дальнейшую разработку материалов в прежнем ключе, но в значительной мере и публикацию уже сделанного.

Интерес к истории и историографии изучения, собственно, российских «древностей» обнаруживается в литературе, начиная с рубежа 1840–1850-х гг. В ту пору археология лишь обретала свой научный статус на российской почве, еще не до конца обособившись от антиквариантства и коллекционерства. Однако важность систематического обзора трудов в этой области для уяснения и формулировки грядущих задач осознавалась уже тогда.

Обращаясь к периоду более раннему, чем последняя треть XIX в., можно упомянуть, что еще в 1851 г. в ЗОРСА вышло первое «Обозрение русской археологии», принадлежавшее перу И.П. Сахарова (см.: 3.4). Однако в части обзора пути, пройденного к тому времени русской археологией, информативность работы И.П. Сахарова была практически нулевой. Именно крайняя неудовлетворенность его «Обозрением» заставила молодого А.С. Уварова еще в 1853 г. предложить от имени Русского Археологического общества премию в 300 руб. серебром за «Обозрение историческое, библиографическое и критическое литературы русской археологии», на следующих условиях:

- 1) чтоб оно было написано по-русски;
- 2) составлено сообразно требованиям науки библиографически и критически;
- 3) обнимало все известные сочинения, в том числе и небольшие отдельные статьи по русской археологии как на русском, так и на иностранных языках;
- 4) чтоб оно было представлено в Обществе в годовой срок (Материалы для биографии... 1910: 5).

На призыв не откликнулся никто. В кругах, близких к РАО, в тот период были глубокие знатоки русской старины – такие как И.Е. Забелин, Д.А. Ровинский и т. д. Были специалисты в области классических древностей, как акад. Л.Э. Стефани. Были нумизматы и ориенталисты, подобные П.С. Савельеву, В.Г. Тизенгаузену и др. Были библиографы и археографы. Большинство этих людей имели и практический опыт раскопок разного уровня. Но, во-первых, очень трудно было встретить человека, соединявшего все указанные отделы знания в одном лице. Во-вторых, составление подобного сочинения требовало свободного времени, которым не располагало большинство образованных любителей древностей, обремененных службой. Организационных структур археологии, которые способствовали бы появлению профессионалов, в России начала 1850-х гг. практически не было. А «полупрофессионалы» – деятели, подобные И.П. Сахарову, – явно не были способны «обнять» все известные сочинения по русской археологии, в том числе на иностранных языках. В результате «...как бы в доказательство того, что русская публика не доросла еще до сознательного отношения к истории родной старины, объявленная задача осталась без ответа...» (Там же).



М.П. Погодин (1800–1875)

Следующая попытка восполнить пробел относится уже к рубежу 1860–1870-х гг. В 1869 г. на I Археологическом съезде выступил историк **Михаил Петрович Погодин** (1800–1875) с огромным докладом «Судьбы археологии в России», чтение которого продолжалось три дня. Исходя из буквального толкования термина: «археология» = «наука о древности», он фактически отождествил «русскую археологию» с древней отечественной историей. Доклад содержал фактологическую подборку материалов по истории изучения как археологических, так и письменных памятников в России, начиная с Петра Великого. «Археология имеет своим предметом, преимущественно, памятники вещественные, но во многих отношениях нельзя отделять от них не только памятники письменные, но и устные, бытовые... – утверждал М.П. Погодин. – Иное слово в языке, собственное имя, иной обряд могут повести часто к важнейшим историческим заключениям. Почему же не причислять их к предметам археологии, <...> они соответствуют именно достижению ее цели, познания древности...» (Пого-

дин, 1871: 2). В своем докладе автор утверждал необходимость общедоступных обзоров и публичных лекций по археологии, устройства провинциальных музеев, составления археологических карт, а также желательности государственных мер в деле сохранения памятников.

Сам **Алексей Сергеевич Уваров** (1825–1884) тоже не оставлял работы в данном направлении. К сожалению, его наиболее широко задуманный историко-аналитический очерк остался не законченным и увидел свет лишь в 1910 г., в мемориальном трехтомном издании, выпущенном к 25-летию со дня кончины ученого. Имеется в виду его труд «Введение в русскую археологию», содержащий, наряду с теоретической, обширную историографическую часть. Указанная работа (Уваров, 1910a) является прообразом всех позднейших опубликованных «Введений» и «Основ» археологии.



А.С. Уваров (1825–1884)

В этой работе А.С. Уваров, подобно М.П. Погодину, начинает свой обзор с петровского времени, но весь этот материал анализируется им в рамках одной проблемы – *объяснить*

понимание задач и объема археологии на разных этапах ее развития. Указанный очерк совершенно оригинален и содержит много интересных данных, касающихся «предыстории» российской археологии. Определяя XVIII век как период, когда «понятие об археологическом памятнике не было еще вполне разъяснено» (Там же: 271), а остатки старины шли по ряду «редкостей», «курьезов» и пр., А.С. Уваров очень подробно останавливается на деятельности и взглядах В.Н. Татищева. В нем он видит человека, опередившего свой век: «... Собранные им материалы не были оценены даже Академией наук, но все-таки служат любопытным доказательством совершенно нового для России воззрения на науку <...> Он [Татищев] сознает всю пользу обработки науки на Западе и ищет особые приемы для применения такой же обработки к русской истории и к русской географии. Искреннее его сознание в этом отношении ясно высказалось в его словах: *Напрасно ищете семян, когда земли, на которые сеять, не приготовлены* <...> (курсив мой. – Н.П.)» (Там же: 272).

Особое внимание А.С. Уварова к персоне и деятельности В.Н. Татищева представляется не случайным. «Здесь нет скорби, что семена берутся из чужеземных источников, – поясняет он позицию своего героя, – а видно только опасение, что на нашей необработанной почве они не принесут столько пользы, сколько было бы желательно получить<...> Любопытно видеть, <...> до какой степени он [Татищев. – Н.П.] был образованным человеком для своего времени. <...> В вопросах чистой учености он принадлежит своему времени, но шириной постановки дела и практическим ограничением себя возможными пределами он обязан своей широкой практической деятельности. <...> Во времена Татищева учение на скамье в заведениях, наспех созданных, было далеко недостаточно без <...> наглядного обучения из практики, деятельности, и, в особенности, из практики, почерпнутой в путешествиях <...>» (курсив мой. – Н.П.) (Там же: 272–273).

Несомненно, за всем этим стояло что-то, особенно близкое и понятное А.С. Уварову. Налицо явная перекличка проблем и задач, которые ставил перед собой каждый из них двоих, хотя и с разрывом более чем в 100 лет. Общность проявлялась во многом. Тут и особая – редкая для своего времени – широта кругозора, и ясное понимание важности иностранных методических разработок, которые, однако, пока еще «не принесут столько пользы» на русской почве. Вот, например: насколько применимы к российским древностям глобальные эволюционные схемы, когда на деле там еще требуется «практика путешествий» – первичное обследование огромных просторов? Нет, тут необходимы «особые приемы» работы – движение от знакомого и освоенного к новому, не освоенному. Формулировку этих приемов подсказывает, в первую очередь, сама исследовательская практика. А поставить дело с размахом можно лишь при условии «практического ограничения себя возможными пределами». Российская действительность вечно диктует эти ограничения то в одном, то в другом... Так акценты, расставленные А.С. Уваровым при изложении позиций далекого предшественника, неожиданно бросают свет на проблематику истории науки значительно более позднего времени, а именно 1870 – начала 1880-х гг., когда писалась его «Русская археология». Безусловно, указанная работа была призвана подвести итоги развития отечественной археологической мысли именно этого времени. К сожалению, детально рассмотреть основную проблематику уже современной археологии ученый не успел. А к моменту своего опубликования в 1910 г. его очерк успел сильно устареть.

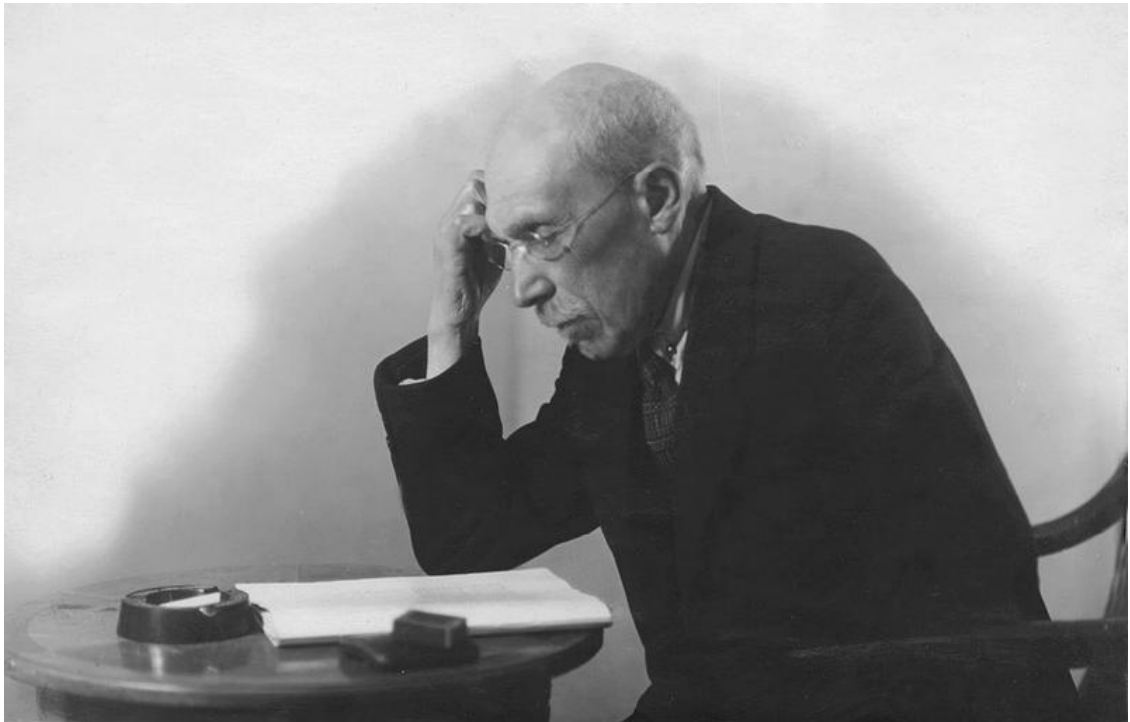
Я намеренно не затрагиваю в этой главе целый ряд публикаций, носивших не столько историко-обзорный, сколько теоретико-методологический характер. Эти опубликованные и неопубликованные материалы (А.С. Уварова, И.Е. Забелина, Н.П. Кондакова, А.А. Спицына, А.С. Лаппо-Данилевского и др.) имеют исключительную важность для понимания развития археологической мысли в России, но все они являются предметом специального анализа в последующих главах моей книги. Здесь же дается краткая характеристика именно обзорным

историографическим работам, намечавшим определенные хронологические и качественные рубежи в процессе исследования отечественных древностей.

Можно констатировать, что после 1870-х гг. и вплоть до начала советской власти из печати выходили лишь частные очерки, подводившие итоги деятельности отдельных организаций, научных предприятий и персоналий, так или иначе связанных с археологией. В их ряду можно назвать работу И.Е. Забелина, посвященную Обществу истории и древностей Российских (1889: III–XXXII) и обширный очерк Н.И. Веселовского по истории Русского Археологического общества (1900). Сюда же примыкают анонимные публикации Д.Н. Анучина о деятельности Московского археологического общества и по итогам первых Археологических съездов ([Анучин], 1890). Немалый интерес представляют очерки Д.Н. Анучина, Н.Н. Ардашева, Н.И. Веселовского и др., посвященные отдельным персоналиям или их научному наследию (напр.: Анучин, 1887; 1906; 1909; 1952; Ардашев, 1909; 1911; Веселовский, 1909 и др.). По большей части, все они могут рассматриваться как свидетельства современников об очень близком для них прошлом или как справочные пособия, содержащие более-менее обширные подборки фактов.

Представления ученых рубежа XIX–XX вв. о различных направлениях и «школах» в археологии можно реконструировать, лишь обратившись к их работам, оставшимся не опубликованными. К числу наиболее информативных в этом плане относятся: а) проспект курса лекций А.С. Лаппо-Данилевского в ПАИ в 1892 г. («История России...»); б) подготовительные материалы А.А. Спицына к лекциям в Санкт-Петербургском университете (1909 г.: «Курс археологии...» и «Введение в археологию...»). По мнению обоих исследователей, различавшемуся лишь в терминологии, указанная область должна подразделяться на три отдельных направления: «классическое», «национальное» и «эволюционное» (или «антропологическое»). Первые два направления еще назывались А.А. Спицыным «старой» и «новой» школой археологических исследований. Все эти данные подробно рассматриваются и анализируются мною ниже в соответствующих разделах. Однако в обоих случаях мы имеем не полноценные обзоры отечественной археологии за определенный период, а лишь их конспективные, черновые наброски.

Двухтомное «Введение в археологию» **Сергея Александровича Жебелёва** (1867–1941) (Жебелёв, 1923а; 1923б) стало первым трудом, включавшим в себя *систематическое изложение* на русском языке истории археологической науки с позиций гуманитария-антиковеда. Книга выросла на базе лекционного курса, который автор читал на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета до Первой мировой войны. В ней освещается развитие археологии в Европе, России и отчасти в Северной Америке.



С.А. Жебелёв (1867–1941)

Необходимо заранее отметить принципиально важный тезис С.А. Жебелёва о *методологической разработанности* классической археологии, далеко опередившей в этом отношении все другие ее «отделы». «...Вся, сложная теперь, археологическая дисциплина, со всеми ее разветвлениями, выросла ...на тех основах, на которых сформировалась археология классическая. Те методы, которые вырабатывались в классической археологии, постепенно были переносимы и усваиваемы прочими отделами археологической науки...» (Жебелёв, 1923а: 7). Принципиальное единство всех «отделов» археологии, включая первобытную, в рамках одной отрасли исторического знания не подлежит для автора никакому сомнению.

Во «Введении» мы находим и первое в русской научной литературе четкое разделение мировой археологии на периоды: художественно-артистический (XV–XVI вв.), антикварный – с XVII в. и собственно научный (с конца XVIII–XIX вв.). Во второй половине XVIII в. обозначилось особое «эстетическое» течение в рамках антикварного периода. Это последнее возродило интерес к древностям в широких кругах европейского общества. В русле указанного течения работал человек, «который вывел антикварную науку из ее тупика», став основоположником уже *археологической* науки. Человек этот – И.И. Винкельман (1717–1768). Именно ему, по мнению С.А. Жебелёва, принадлежит честь разработки первого «строго научного» метода археологии – *метода стилистического анализа*. Ему же принадлежит не устаревающая идея связи развития всякого искусства с развитием общества, его породившего (Жебелёв, 1923а: 18–27).

В историческом очерке С.А. Жебелёва мы не найдем четкой периодизации именно отечественной археологии, хотя рассмотрение этой последней занимает там половину первого тома. Изложение ведется по отдельным отраслям или направлениям археологии – классической, византийской, мусульманской, русской, средневековой западноевропейской и т. д. Это делает вдвойне трудным установление общих периодов, ибо развитие указанных областей в России шло весьма неравномерно. Автор воспринимает его как процесс постепенного, поступательного роста научного достояния, сопровождавшегося расширением кругозора специалистов, что в совокупности давало им возможность подниматься на новые уровни обобщений.

Тем не менее С.А. Жебелёв отмечает и кое-какие хронологические рубежи в развитии археологической науки в России. Главным из них, по-видимому, являются для него 1870-е годы. Именно с этого времени «начинается у нас расцвет ученой археологической литературы» – в первую очередь, в области классической, а также византийской и «стоящей в ближайшей связи с ней» русской археологии (Там же: 137). Изучение «вещественных памятников, происходящих с юга России» тормозилось, по мнению автора, недостаточной разработкой связанных с ними вопросов исторической географии и топографии древних поселений Причерноморья. Однако к 1870-м гг. в этом направлении «удалось добиться серьезных и прочных результатов» (Там же: 146–147).

В книге характеризуется целый спектр методов, представляющих собой основу работы археолога. Для автора все они составляют ту область *критики источников*, в которой он не видит принципиальной разницы между филологическим и археологическим исследованием. По мнению С.А. Жебелёва, как филолог, так и археолог изучают свои памятники с точки зрения внешней формы (куда входит характеристика материала, из которого памятник сделан), содержания и стиля. И тот и другой прибегают к сравнению и аналогиям; и тот, и другой оценивают различные версии памятников. Все это «объемлется общим понятием «исторической критики», этой основной базы всякого исторического изучения» (Там же: 131–132).

Собственно стилистический анализ тоже имеет широкое применение за рамками археологической науки. Однако, как можно понять из текста С.А. Жебелёва, научная зрелость той или иной ее области оценивается им как раз по степени освоенности метода стилистического анализа в работе с вещественными памятниками. В России разработка указанного метода связывается автором с трудами Н.П. Кондакова и его последователей.

Следует сразу оговорить принципиальные отличия указанного метода от того «стилистического анализа», который начал разрабатываться в мировом искусствоведении с начала XX в. В переводе на современный язык, метод стилистического анализа Н.П. Кондакова и его учеников строился на выделении *комплексов коррелирующих между собой признаков, характерных для определенных хронологических периодов*. Это действительно чисто археологический, а не специфически искусствоведческий метод анализа памятников – вещественных и изобразительных. Выделение таких комплексов признаков в XIX – начале XX в. производилось, разумеется, интуитивно, исключительно на основе широкого, углубленного изучения материала (изучения «фактов!»). Начало его широкого применения к древностям – классическим, византийским и русским – падает на конец 1870-х и 1880-е гг.

Начало 1920-х годов – время выхода обзорной работы С.А. Жебелёва – воспринималось им самим как уже совершенно новый период развития отечественной археологии. «Я твердо убежден, – заявлял автор, – что 1 августа 1914 г. проведена была демаркационная линия между прошлым и будущим в жизни культурного человечества <...> Как сложится будущее, гадать бесполезно; людям моего поколения не суждено это будущее узреть и оценить <...> Работа людей моего поколения прошла в прошлом, и мы должны дать отчет в этом прошлом, каждый по своей специальности, как самим себе, так и тем, кто идет и пришел уже нам на смену. Своим отчетом о прошлом мы обязаны, в меру сил и умения, помочь им в их настоящей и будущей работе...» (Жебелёв, 1923а: 6).

«Демаркационная линия» между старым и новым, конечно, определялась для С.А. Жебелёва сломом прежних археологических структур, эмиграцией и смертью многих его сверстников и коллег в период военного коммунизма. Тем не менее, говоря о тех, «кто идет и пришел уже нам на смену», он имел в виду отнюдь не «марксистскую смену» археологов, речь о которой могла бы зайти всерьез лишь лет через пять. «Сменой» представлялись ему, скорее всего, археологи-естествоведы, палеоэтнологи, действительно игравшие ключевую роль в новых археологических структурах первой половины – середины 1920-х гг. (включая

ГАИМК, различные комиссии Академии наук, ведущие археолого-этнографические музеи). О причинах и характере этого процесса я буду подробно говорить ниже. Здесь же стоит отметить одно: подчеркивание С.А. Жебелёвым методологического богатства классической археологии в данном контексте должно было иметь одну цель – донести эту мысль до тех, кто был традиционно далек от указанной области, чужд гуманитарной археологии как таковой. В создавшейся ситуации только это могло обеспечить хоть какую-то преемственность исследований.

Следующий опыт обзора отечественной археологии вышел из печати всего через 7 лет после книги С.А. Жебелёва, но принадлежит он уже совершенно иной эпохе. Это монография **Владислава Иосифовича Равдоникаса** (1894–1976) «За марксистскую историю материальной культуры». В ней автором была поставлена принципиально новая задача: «диалектически снять» «буржуазно-феодалное археологическое наследство <...> отвергая в нем все, противоречащее основам пролетарской идеологии» (Равдоникас, 1930: 6). Соответственно книга посвящена выявлению «классового смысла» всей старой археологической науки, «якобы надклассовой, а на самом деле ультра-буржуазной» (Там же: 9).

В этих целях археологическое наследство Российской империи уверенно классифицировалось с социологической точки зрения. «Феодальная» или «дворянская» археология оказалась представлена в лице графа А.С. Уварова, графини П.С. Уваровой, графа А.А. Бобринского, Н.И. Веселовского и др. В этой «археологии», по мнению автора, присутствовали «любительство и дилетантизм, характерные для дворянского, барского отношения к науке» (Там же: 37–38). «Буржуазная» археология имела представителями И.Е. Забелина, Д.Я. Самоквасова, В.И. Сизова, В.А. Городцова и др. «Мелкобуржуазными» археологами названы Ф.К. Волков, Б.С. Жуков и все благополучно здравствовавшие в 1920-х гг. представители палеоэтнологической школы (Там же: 40, 49).



В.И. Равдоникас (1894–1976)

Книга В.И. Равдоникаса не содержит периодизации как таковой. Перечисленный выше «личный состав» отечественных специалистов не оставляет сомнений: все три упомянутых «археологии» существовали в России второй половины XIX–XX вв. одновременно и параллельно. Соответственно, никаких границ между периодами, даже в тенденции, установить невозможно, кроме одной – октября 1917 г., официально положившего конец существованию дворянства.

Непонятен в ряде случаев и самый «личный состав». Почему, например, В.А. Городцов и Ф.К. Волков оказались отнесены к разным «рубрикам»? Почему помещик проф. Д.Я. Самоквасов (о нем: Щавелев, 1993; 2004) включен в одну категорию с малоимущим интеллигентом В.И. Сизовым (о нем: Анучин, 1906)? Вызывающая произвольность социологического построения В.И. Равдоникаса, видимо, ощущалась и им самим. Это инициировало многочисленные «оговорки», призванные как-то сгладить явные несообразности.

Разбросанные по тексту «оговорки» В.И. Равдоникаса бывают весьма красноречивы и представляют для историка науки немалый интерес. Временами они прямо противоречат основному тезису автора, по которому «наиболее яркой чертой, выступающей в прошлом нашей археологии», был «сугубый эмпиризм, безнадежное уклонение от синтеза» (Равдоникас, 1930: 34; см. также: Платонова, 2002б). Так, граф Уваров, несмотря на свою дворянско-феодалную сущность, оказывается вдруг «образованным, вращавшимся в среде буржуазных археологов человеком, далеко не чуждым и подлинных научных интересов» (Там же: 38). Прицая «методологию формального искусствоведения», автор неожиданно признает Н.П. Кондакова «фигурой более сложного порядка, заслуживающей особого пристального изучения» (Там же: 39). М.И. Ростовцев, в трактовке Равдоникаса, – «автор действительно важных археологических обобщений» (Там же: 33). И уж совсем неожиданным выглядит признание автора, что *«только сейчас (то есть, в 1920-х гг.! – Н.П.) у нас начинается подлинный расцвет буржуазной методологии»* (Там же: 49).

За всеми этими оговорками недвусмысленно просвечивают истинные воззрения автора на отечественную археологию. Но они буквально тонут в цветистых, полных едкого пафоса обличениях ее, как якобы «чисто описательного вещеведения, вещеведения решительно без всякого метода» (Там же: 34). За хлесткими формулировками просматривается отчётливый социальный заказ: дискредитировать «старую археологию» в целом, обосновать и оправдать её разгром, уже начавшийся в 1928–1929 гг. массовыми «чистками», увольнениями, травлей и арестами ученых (Перченков, 1991; Бонгард-Левин (ред.), 1997; Порре, 1983: 109–131; Тункина, 1997; 2000 и др.).

Несмотря на очевидную политическую ангажированность, указанной концепции была суждена исключительно долгая жизнь. Послесталинская историография в СССР воспроизвела ее главные тезисы почти без изменений (Монгайт, 1963; Вайнштейн, 1966). «Демократизация и гласность» хрущёвских времён не заходили так далеко, чтобы осуждать политику коммунистической партии как таковую. Разрешалось отмечать лишь отдельные ошибки и «перегибы».

В дальнейшем представление об исключительном «эмпиризме» и методологической беспомощности русской археологии последней трети XIX – первой трети XX в. стало азбучным и последовательно внедрялось в умы всё новых поколений. Лишь в 1990–2000-х гг. в литературе было озвучено мнение, что эта концепция, оказавшая столь сильное влияние на мировые представления о русской археологии, являлась не более чем одним из вариантов идеологического мифа, широко распространённого в нашей стране в тоталитарную эпоху (см. в частности: Платонова, 1995; 1997; 2002б).

Разумеется, формулировки вульгарного социологизма, откровенно эпатававшие научное сообщество начала 1930-х гг., позднее уже не повторялись в археологической литературе. Но вплоть до рубежа 1980–1990-х гг. официально считалось, что собственно теоретическая мысль начала развиваться в отечественной археологии именно в результате экспансии марксизма на рубеже 1920–1930-х годов (Массон, 1969; 1980; Генинг, 1982; Мартынов, 1983; Пряхин, 1981; 1986).

В несколько трансформированном виде та же концепция нашла отражение и в трудах таких далеких от всякого официоза исследователей, как М.А. Миллер на Западе и Л.С. Клейн в России. Книга М.А. Миллера «Археология в СССР», посвященная истории российской/советской археологии первой трети XX в., была опубликована в Мюнхене на русском языке в самом начале хрущёвской «оттепели» (Миллер, 1954). Автора характеризовала острая критическая направленность по отношению к сталинскому режиму, что, возможно, заставило многих читателей на Западе отнестись к нему с доверием. Во всяком случае, книга быстро была переведена на английский язык и опубликована в США (Miller, 1956).

Однако на деле этот объёмистый труд пестрит откровенными несообразностями и фактологическими ошибками.

До своей эмиграции из СССР автор был провинциальным археологом-краеведом. Для того чтобы верно охарактеризовать панораму современной ему археологии, он не обладал ни достаточным кругозором, ни научной подготовкой. В русской археологии до Великого перелома он выделил шесть «направлений»: 1) кладоискательское или дворянское; 2) курганное; 3) формалистическое; 4) вещеведческое; 5) эстетствующее; 6) эмпирическое (Миллер, 1954: 34). Критерии их разделения достаточно произвольны. «Кладоискательское направление» якобы было представлено в России Н.И. Веселовским и Д. Эварницким. Состав «курганного направления» оказался самым пестрым: И.Е. Забелин, Н.Е. Бранденбург, Л.К. Ивановский, те же Н.И. Веселовский и Д. Эварницкий, а вместе с ними – С.И. Руденко и М.П. Грязнов (sic! – Н.П.). Представителем «формалистического направления» назван В.А. Городцов. «Эстетствующее направление» (по мнению автора, «консервативное и бесплодное») имеет своими представителями С.С. Лукьянова, К.Э. Гриневича и М.И. Артамонова (sic! – Н.П.). К «эмпирическому направлению» отнесены А.А. Спицын, С.С. Гамченко и покойный брат автора – известный археолог А.А. Миллер (Там же: 42–45).

Позиции исследователей, объединённых М.А. Миллером в рамках указанных выше «направлений», в действительности очень сильно различались в концептуально-методологическом плане. Различным был и характер их научной подготовки, во многом определявший научные взгляды. Достаточно отметить, что автор книги, видимо, не обнаружил большой разницы между археологом-палеоэтнологом А.А. Миллером, археологом-историком А.А. Спицыным и практиком-раскопщиком С.С. Гамченко. Комплексный подход палеоэтнологов С.И. Руденко и М.П. Грязнова к раскопкам курганов, безусловно, имел мало общего с дилетантскими раскопками Л.К. Ивановского, Д. Эварницкого и т. д. В сущности, в работе М.А. Миллера ощущается очень сильное влияние уже описанных выше вульгарно-социологических построений «советской археологии» первой половины 1930-х гг. Его книга представляет немалый историографический интерес, но именно как рефлексия краеведа старой школы на внедрение марксизма в археологию.

В дальнейшем представление о том, что вплоть до конца 1920-х гг. в русской археологии господствовал «эмпиризм», стало в западной науке общепринятым, благодаря трудам и авторитету **Льва Самойловича Клейна** (род. 1927), принявшего данную точку зрения (Klejn 1977; Bulkin, Klejn, Lebedev 1982). Этот взгляд на историю советской археологии в дальнейшем нашёл свое отражение в небольшой изящной книге «Феномен советской археологии» и ряде других работ (Клейн, 1993; 1995; 1995а и др.). Согласно концепции Л.С. Клейна, первые попытки синтеза, пусть несовершенные, действительно появляются только в работах молодых исследователей-марксистов рубежа 1920–1930-х гг. Предшествующий период лишь подготовил научную базу для будущих обобщений. «Феномен» вскоре вышел в дополненном виде на немецком языке и доныне продолжает оказывать огромное влияние на современную западную историографию. Отражением этих воззрений в зарубежной науке стал, в частности, раздел о русской археологии в обобщающем исследовании Б. Триггера, посвященном истории мировой археологической мысли (Trigger, 1989)¹. Те же общие положения проскальзывают в трудах П.М. Долуханова (2000).

В сущности, до конца 1980-х гг. лишь один русский историк науки в своих публикациях откровенно «выбивался из общего ряда» как в методическом плане, так и в своих воззрениях на ход развития отечественной археологии. Это **Александр Александрович Фор-**

¹ Указанный раздел оказался написан вполне в духе прежней советской историографии, что и было отмечено в российской рецензии на указанную книгу (Вишняцкий и др., 1989). Часть этой коллективной рецензии, посвященная трактовке Б. Триггером российской археологии до 1930-х гг. включительно, была написана автором этих строк.

мозов (1928–2009), в трудах которого уже с 1960-х гг. проводилось представление о том, что для периодизации принципиальное значение имеют *положение археологии в системе наук своего времени и характер тех запросов, которые ставит ей общество* (то есть функции данной области знания в данном обществе в данный момент) (Формозов, 1961; 1983). Изменение указанных факторов может вызвать определенные изменения ориентации и связей науки, привести ее к движению в совершенно новом направлении.

В самой постановке проблемы, в выборе критериев периодизации у А.А. Формозова явно прослеживается влияние позитивистской исторической традиции. Именно ее родоначальник О. Конт, в частности, указывал, что «истинную историю каждой науки», как и «действительное происхождение всех входящих в нее открытий», можно постичь «только путем прямого и всестороннего изучения истории человечества», то есть, говоря современным языком, исторического контекста развития всякой науки (Конт, 1910: 34). Таким образом, всякое открытие осмысливается именно как *социальное явление*, а путь развития науки представляет собой череду таких открытий, промежутки между которыми заполняются разного рода событиями социального характера.

Законченный вариант периодизации отечественной археологии, в основу которой был положен характер *изменения функций и структур науки*, содержится в работах А.А. Формозова 1990-х гг. (1994; 1995). Таким образом, она попала в печать лишь тогда, когда в России произошла смена исходных установок в данной области знания. Но нет сомнений: в основе своей эта трактовка сложилась в более раннее время.

Первая половина XIX в. определена А.А. Формозовым как «романтический период» дворянского дилетантизма. Далее следуют «период создания организаций» (1860–1870-е гг.), «период классификации древностей» России (1880–1917 гг.). Революцию А.А. Формозов считает в полном смысле слова поворотным моментом, ибо тогда последовала ломка всех существовавших археологических структур и кардинальные перемены в стране, изменившие характер запросов к археологии со стороны общества и государства.

Послереволюционный период структурировался ученым уже по иному – социально-политическому – признаку. 1917–1921 гг. – «период революционной разрухи»; 1921–1928 гг. – «передышка» эпохи нэпа; 1929–1933 гг. – «разгром». Далее следует «период восстановления централизации и национальной ориентированности», уходящий за хронологические рамки настоящего исследования.

Тогда же, в середине 1990-х гг., между А.А. Формозовым с Л.С. Клейном разгорелась полемика по вопросу об оценках дореволюционной русской археологии и ранней «советской» археологии, пришедшей ей на смену в начале 1930-х гг. (Формозов, 1995а). Накал страстей почти заслонил от читателя единую основу взглядов обоих исследователей на дореволюционную археологию. Водораздел между ними проходил отнюдь не в области ее принципиальной оценки, а скорее в области эмоционального отношения к ней.

Для А.А. Формозова позитивистская археологическая наука, развивавшаяся в России до 1930 г., несет в себе лучшие традиции отечественной археологии и уже в силу этого представляет высочайшую ценность. При этом он сам готов признать за ней «эмпиризм», логично объясняющийся и оправданный уровнем изученности археологического материала (восточноевропейского и североазиатского) в первой трети XX века (Формозов, 1995; 1995а).

Для Л.С. Клейна преобладание «эмпирических» разработок над «теоретическими» уже само по себе свидетельствует об определенной «неполноценности» дореволюционной российской археологии. Впрочем, и он готов извинить этот грех недостатком изученности исходного материала. В своей последней книге «История российской археологии: учения, школы и личности» Л.С. Клейн так подводит итог своего спора с А.А. Формозовым: «Формозов <...> противопоставляет моему изложению более суровые оценки деятельности идеологов ранне-советской археологии и требует уделить большее внимание археологам-эмпи-

рикам, создававшим фактуальную базу российской археологии. Эмоциональное и гневное отношение к участникам разгрома старой русской археологии <...> было естественно сразу же по освобождении от атмосферы террора. Естественно и предпочтение им скромных и работающих эмпириков <...> Я все же остался при своем убеждении, что нужно давать взвешенные оценки всем течениям и группам, а эмпирики при всех заслугах и при всем значении их работы уступали теоретикам в воздействии на формирование направлений, которые создают движение исторической и археологической мысли...» (Клейн, 2010, в печати)².

Последнее утверждение стоит прокомментировать. На мой взгляд, теоретические дискуссии и разработки действительно активно способствуют «движению археологической мысли», но лишь при одном условии. Они должны быть связаны системой обратных связей с практикой археологического исследования, причем с позитивной практикой, демонстрирующей плодотворность приложения новых идей к материалу. И вот в этом плане многие отечественные «эмпирики» 1870–1920-х гг. оказались на голову выше адептов вульгарного социологизма рубежа 1920–1930-х гг., считавшихся «теоретиками».

Теоретические воззрения А.С. Уварова, И.С. Полякова, И.Е. Забелина, Н.П. Кондакова, А.А. Спицына, Д.Н. Анучина, Ф.К. Волкова, С.И. Руденко и др. отражали реальное движение археологической мысли в России и немедленно получали воплощение в практике проводимых тогда исследований. Да, специальные теоретические публикации тех лет можно пересчитать по пальцам. Обычно новые идеи в области методологии высказывались по ходу дела – в конкретных работах, посвященных той или иной категории материала, в проспектах лекционных курсов, оставшихся в рукописях, и т. д. О последнем, действительно, можно пожалеть. Но сами идеи упомянутых ученых не становятся от того менее значимыми.

Совершенно обратную картину дает нам статистика выпуска из печати теоретических работ по археологии в эпоху Великого перелома. В первой половине 1930-х гг. число этих работ в СССР резко возрастает – с долей процента до 5 %. Во второй половине 1930-х – вновь падает до 1–5 публикаций в год (Клейн, 1977: 14). Но свидетельствует ли первое о подъеме археологической мысли, а второе – об ее упадке?

На мой взгляд, нет. И пресловутый рост до пяти процентов, и падение вновь до сотых процента были обусловлены только одним – социальным заказом, имевшим весьма отдаленное отношение к науке. За редчайшим исключением (напр.: Кипарисов, 1933), теоретические работы начала 1930-х гг. свидетельствовали лишь о засилье социологической схоластики – бесплодной и разрушительной, с точки зрения современных ей задач археологического исследования СССР. Приложение их к материалу оказывалось невозможным в принципе, если только за «марксистскую теорию» не выдавалось путем ряда чудесных подмен что-нибудь из арсенала старого доброго эволюционизма (как, например, «система Мортилье», ставшая основой «стадиальной схемы» отечественного палеолита).

На мой взгляд, дискуссия между Л.С. Клейном и А.А. Формозовым очень информативна. Она показала, насколько живучими являются представления о теоретической «неразвитости» отечественной археологии в историографической традиции, причем не в одной «официозной» науке, но и в ярко «оппозиционной». Для обоих участников спора – не только выдающихся историографов, но и сверстников, сформировавшихся как ученые в 1950-х гг. – дореволюционные «эмпирики» и поныне остались только эмпириками, а советские «теоретики» – теоретиками. В связи с этим следует отметить, что именно Л.С. Клейном в последние годы был произведен весьма серьезный анализ теоретических позиций Н.П. Кондакова и основанного им направления, названного *post factum* «комбинационизмом» (Клейн, 2005: 15–16). На мой взгляд, результаты этого анализа находятся в противоречии с привычной ква-

² Я глубоко признательна Л.С. Клейну за любезно предоставленную возможность не только ознакомиться с текстом еще не опубликованной работы, но и привести из нее цитату.

лификацией дореволюционных археологов как чистых «эмпириков». Но приведенная выше цитата говорит сама за себя.

На этом фоне представляет интерес работа **Михаила Васильевича Аниковича** (род. 1947), подготовленная еще в середине 1980-х гг. (Аникович, 1989). Восстановив по материалам, опубликованным в «Трудах» III Археологического съезда, ход теоретической дискуссии, состоявшейся на этом съезде в 1874 г., М.В. Аникович как бы заново «открыл» для своих современников целый ряд забытых деталей упомянутой методологической дискуссии.

Краткие публикации на эту тему появлялись и раньше (Ганжа, 1982; Жук, 1987а). Однако М.В. Аникович не только проанализировал теоретические воззрения русских археологов на хронологическом срезе 1870-х гг. Он сумел вписать их в общую картину развития методологического поиска дореволюционной отечественной археологии.

Особое внимание было обращено автором на четкую философско-методологическую позицию профессора Киевского университета Св. Владимира П.В. Павлова, предложившего классифицировать исторические науки *по характеру источников*. Именно этим исследователем впервые было выдвинуто понятие «*археологических источников* или *вещественных памятников*», подлежащих исследованию особым «археологическим методом» (Павлов, 1878: XVIII–XIX).

Тогда же, на III Археологическом съезде, четко обозначилась, по мнению М.В. Аниковича, и другая принципиальная позиция («уваровская»), предполагавшая, что предмет археологии неотделим от предмета истории; различия между ними заключаются лишь в *археологическом методе* исследования (Уваров, 1978: 30). Развитие указанной системы взглядов наблюдается несколькими десятилетиями позднее в формулировках С.А. Жебелёва, для которого теснейшая связь археологии и истории не подлежала сомнению, но археологическими источниками признавались преимущественно вещественные памятники. Здесь уже, в сущности, можно усмотреть тенденцию рассматривать археологию как источниковедческую историческую дисциплину. Но четко эта позиция не обозначена; скорее она вытекает из общих рассуждений С.А. Жебелёва (Аникович, 1989: 14–15).

В дальнейшем, в начале XX века, в русской археологии был сформулирован третий подход (городцовский), недвусмысленно определивший упомянутый выше «археологический метод», как метод *типологический*. В системе взглядов В.А. Городцова археология выступала уже не как историческая, а как «реальная» (естественная) наука, изучающая закономерности возникновения и развития «форм вещественных творений» человека (Городцов, 1923: 5).

Поставив во главу угла эволюцию взглядов российских ученых на цели и задачи археологии, на ее место в системе наук, М.В. Аникович в указанной выше работе выделил два этапа развития русской археологической мысли второй половины XIX – первой трети XX в. Граница между ними проведена им приблизительно по рубежу столетий. Период 1920-х гг. у него органично связан с предшествующим и, таким образом, «вписывается» во второй этап.

На первом этапе доминируют «представления о неразрывной связи археологии и истории, вплоть до слияния <...> Археологическими источниками считаются как вещественные, так и письменные памятники». Важнейшей задачей археологии признается «раскрытие каких-то общественных отношений», правда, «понимаемых крайне узко и односторонне».

На втором этапе «преобладает тенденция к определению предмета археологии через посредство специфики археологических источников. Граница между историей и археологией проводится более резко, вплоть до вынесения археологии за рамки исторических дисциплин <...>» (Там же: 22–23).

Переход от одного этапа к другому не обуславливался, по мнению автора, критическим снятием прежней системы взглядов в результате развития какого-то одного направления. Все

очерченные выше подходы продолжали так или иначе существовать и развиваться в науке до конца 1920-х гг. За редчайшим исключением, не делалось даже попыток соотнести их с профессиональными построениями в области философии и методологии истории.

Проанализировав указанные подходы, М.В. Аникович пришел к выводу, что «взгляды русских дореволюционных археологов на место археологии в системе наук достаточно серьезны и интересны» и что каждый из них «своеобразно преломляется и в современных дискуссиях по тому же вопросу» (Аникович, 1989: 24). Отдавая дань прежней традиции, восходящей к В.И. Равдоникасу, он еще отмечал «эмпиризм» русских ученых второй половины XIX – первой трети XX в., чьи «представления об археологии как науке менялись не в результате <...> дискуссии, а как бы сами по себе, под воздействием изменений, происходящих в конкретной работе археологов <...>» (Там же: 22).

В то же время, органичная связь теоретических воззрений с археологической практикой, с реалиями тогдашней науки оборачивалась, в трактовке М.В. Аниковича, не слабей, а сильней стороной дореволюционных теоретических разработок. «В разных, неявно выраженных, неразвитых направлениях определения археологии как науки отразились *разные существенные стороны археологического исследования*. Именно поэтому между этими направлениями «старой» школы и современными направлениями в определении предмета и объекта археологии <...> можно установить, хотя и с оговорками, но все же достаточно выраженные соответствия... (курсив мой. – Н.П.)» (Там же: 23).

Работа М.В. Аниковича создавалась, в полном смысле слова, «на рубеже времен». Она вышла из-под пера археолога, самостоятельно открывшего для себя теоретическое богатство дореволюционной археологии, но не до конца распростившегося с представлениями об ее «голом эмпиризме», глубоко укорененными в советской науке. Эта статья стала одной из первых, выдвинувших принципиально новый подход к историографическим реалиям. Вместо констатации отсталости дореволюционной науки, автор настойчиво подчеркивал актуальность изучения теоретического наследия «старой школы» для понимания методологических проблем сегодняшнего дня. Избитое обвинение «старой» археологии в том, что она «замыкается на изучении вещей, вещей самих по себе», опровергалось им с фактами в руках (Там же: 15). Преемственность линий развития археологической мысли второй половины XIX – начала XX в. и современной археологии утверждалась на конкретных примерах.

В то же время ряд досадных пробелов в работе служит поучительной иллюстрацией уровня археологической историографии второй половины 1980-х гг. К примеру, сегодня было бы уже немыслимо характеризовать теоретические подходы в русской археологии без упоминания палеоэтнологической школы. Говоря о философско-методологическом обосновании места археологии в системе наук, нельзя было бы пройти мимо разработок А.С. Лаппо-Данилевского по источниковедению вещественных памятников. Но качественный прорыв в историографической области, на порядок углубивший наши знания о прошлом археологической науки, явился завоеванием уже последующих двух десятилетий.

Смена концептуальных платформ в истории отечественной науки сопровождалась на рубеже XX–XXI вв. целыми потоками принципиально новой информации – настоящим «бумом» новых публикаций. Значительная часть их основывалась на неопубликованных архивных данных, наглядно демонстрирующих несостоятельность прежней концепции В.И. Равдоникаса и его преемников, как прямых, так и опосредованных³. Назову лишь отдельные работы, имеющие, на мой взгляд, принципиальное значение, с точки зрения разработки новой историографической парадигмы (Бонгард-Левин (ред.), 1997; Васильев, 2001–2002;

³ Библиография этих публикаций, вышедших в последние 15–20 лет, может составить целую книжку. Поэтому любой список, приведенный здесь, будет заведомо неполным. В настоящее время работа по составлению исчерпывающей библиографии литературы по истории отечественной археологии ведется совместно А.С. Вдовиным (Красноярск) и Д.В. Серых (Самара).

Лебедев, 1992; Платонова, 2002б; 2004; Тихонов, 1995; 2003; Тишкин (ред.), 2004; Тункина, 2002 и др.).

Кроме того, с 2000-х гг. начинают переиздаваться воспоминания и важнейшие работы дореволюционных археологов, мало или вовсе не известные отечественному читателю (Жебелёв, 2003а; 2003б; 2003в; Кондаков, 2002; Ростовцев, 2003; Руденко, 2003; Уварова, 2005 и др.). Работы эти сопровождаются подробными комментариями (Бастракова, Заколовотная, 2005; Бастракова, Стрижова, 2005; Кызласова, 2002; Платонова, 2003; Тункина, Фролов, 2003а; 2003б; 2003в и др.).

Современные установки археологической историографии утверждают взвешенный подход к фактам истории отечественной науки. Они отвергают априорное представление о слабости и несамостоятельности отечественной археологической мысли дореволюционного и первого послереволюционного периодов, но констатируют ее недостаточную изученность. Соответственно основное внимание исследователей концентрируется на материалах, способных бросить свет на указанную проблему. Полученная новая информация очень обширна, но еще далеко не обобщена и не проанализирована в совокупности⁴.

В данной главе я не касаюсь тех историографических трудов, которые не затрагивают совсем (или затрагивают лишь в небольшой степени) тот исторический период, который составляет предмет моего рассмотрения (Генинг, 1982; Мартынов, 1983; Пряхин, 1986; Тункина, 2002). Но необходимо упомянуть целый ряд обобщающих работ, включивших в себя варианты периодизации дореволюционной археологии. Три из них были опубликованы почти одновременно – в самом начале нового этапа историографических исследований (Генинг 1992; Матющенко, 1992; Лебедев, 1992). Кроме того, я не считаю возможным пройти мимо такого заметного явления в отечественной историографии археологии, как две монографии С.А. Васильева по истории отечественного палеолитоведения (Васильев, 2001–2002; 2008). Особого упоминания заслуживает и новая периодизация археологической науки, разработанная А.В. Жуком, хотя пока она известна коллегам лишь по автореферату кандидатской диссертации, защищенной в ОмГУ (Жук, 1995), и серии мелких статей.

В обобщающей работе **Владимира Федоровича Генинга** (1924–1991) использовано понятие научной революции, трактуемое, как качественный революционный скачок при переходе от одного периода к другому. В момент такого скачка изменяются самые основы науки – пересматриваются ее мировоззренческие основы, объект познания, теории и методы исследования (Генинг, 1992: 4).

Мировая археология, в указанной трактовке, проходит три этапа в своем развитии. Первый представляет собой «археологию древностей» (или «классическое направление») и охватывает конец XVIII в. – 1870-е гг. В этот период археология вещественных древностей еще не выделена из общего комплекса гуманитарного источниковедения, где она существует наряду с археографией, палеографией, изучением фольклора и т. д. Второй этап – так называемая «культурархеология» – продолжается с 1870-х до 1930-х гг. в СССР и до 1960-х гг. на Западе. В это время она представляет собой науку об археологических культурах. Третий этап – «социоархеология» – повсеместно сменяет предыдущий. В СССР это происходит в начале 1930-х, на Западе – лет на 30 позднее. В указанный период археология становится наукой, изучающей древние социальные системы по вещественным остаткам (Там же: 8).

Весь хронологический отрезок, рассматриваемый в моей работе (последняя треть XIX – первая треть XX в.), укладывается, по В.Ф. Генингу, в рамки одного крупного периода –

⁴ Одной из попыток такого рода является настоящая монография, хотя и она не может претендовать на исчерпывающий характер. Объективными причинами тому, в первую очередь, являются: недоступность целого ряда публикаций; отсутствие своевременной информации о них; а также малые тиражи, превращающие книги в библиографические редкости с самого момента их выхода в свет.

«культурархеологии». Серьезных концептуальных различий внутри него автор не прослеживает. Для него он един.

Легко убедиться, что здесь трактовка понятия «научной революции» заметно отличается от классической трактовки Т. Куна. Куновские «смены парадигм» вовсе не подразумевают полного переворота «мировоззренческих основ, объекта познания, теорий и методов исследования». Можно согласиться с автором, что, в пределах очерченного хронологического периода действительно нельзя проследить столь капитальных «скачков». Однако утверждение его идейного и методологического «единства» с ходу вызывает у читателя множество вопросов.

К примеру, какие «археологические культуры» изучали отечественные авторы 1870–1880-х гг., когда само понятие культуры, применительно к археологии, кристаллизовалось в более-менее отчетливом виде не ранее 1890-х гг., в работах А.А. Спицына и Г. Косинны?

Можно ли объединять воедино научные школы в археологии рубежа XIX–XX вв., развивавшиеся в рамках различных ученых сообществ? Стоя на разных научных платформах (гуманитарной и естественноведческой), они резко различались и по исходным установкам, и по выбору объектов исследования.

Наконец, забегая вперед, можно задать вопрос: правомерно ли определять отечественную археологию 1960–1970-х гг., с ее «бумом выделения археологических культур», как «социоархеологию»? Да и многие ли современные авторы согласятся с тем, что предметом их изучения служат исключительно «социальные системы» древности?

Для меня сейчас важно одно: на критериях, принятых В.Ф. Генингом, практически невозможно построить периодизацию науки. Сама по себе его концепция может по-разному рассматриваться и критиковаться науковедением, но в истории археологии она попросту *не работает*, ибо не способна уловить и зафиксировать реальное движение археологической мысли в рамках даже такого длительного и богатого событиями временного отрезка, каким явилась в России последняя треть XIX – первая треть XX в.

На первый взгляд, периоды, выделяемые в книге **Владимира Ивановича Матющенко** (1928–2005), посвященной истории археологических исследований в Сибири, так же обширны и лишены внутренних различий, как периоды В.Ф. Генинга. В частности, рассматриваемый мною хронологический отрезок (последняя треть XIX – первая треть XX в.) квалифицирован им, в целом, как «период определения основных направлений в сибирской археологии» (Матющенко, 1992: 27). Правда, при внимательном чтении выясняется: в рамках указанного периода все же выделяется временной отрезок с 1920 по 1936 год, воспринимаемый самим автором, как нечто особое. Он назван «периодом разработки культурно-хронологических схем» для разных регионов Сибири, когда в свет вышло очень много работ, «успешно претендующих на глубокое осмысление памятников как исторического источника» (Там же).

Вместе с тем исследователь приходит к выводу, что в первые 15–17 лет после революции в Сибири «не произошло каких-то качественных изменений характера исследований с новой методологической ориентацией». 1920 – начало 1930-х гг. представляют собой «логическое завершение» развития прежней, дореволюционной археологии.

Учитывая региональный характер историографического исследования В.И. Матющенко, я склонна признать его правоту в данном вопросе. Действительно, имеется целая серия документальных свидетельств, указывающих, что в Сибири археологические исследования 1920-х годов представляли собой органичное развитие традиций, заложенных в более раннее время. Более того, мне представляется, что можно (хотя и с оговорками) согласиться с тезисом автора о едином характере всего «периода определения основных направлений в сибирской археологии».

Характер археологического изучения Сибири, начиная с 1860–1870-х гг., демонстрирует отчетливое доминирование естественноведческого (палеоэтнологического) подхода к памятникам при сравнительно малом удельном весе гуманитарного подхода. Последнее было вызвано конкретной исторической ситуацией, обусловившей: а) ведущую роль демократического и революционного элемента в рядах первых исследователей Сибири; б) более значительную роль местных ученых обществ и музеев в исследовательском процессе, чем это имело место в европейской части страны.

Развитие археологии европейской и североазиатской России во второй половине XIX – начале XX в. никак не могло идти в едином ключе. В Европе целые поколения русской интеллигенции одно за другим вступали на революционную стезю, направляя всю свою недюжинную энергию на разрушение существующего политического строя. А те из них, кто попадал в Сибирь, по большей части, революцию уже не делали. Значительный пласт политических ссыльных – цвет образованного сословия России – волей-неволей был вынужден искать себе экологическую нишу в разных мирных занятиях, в том числе и в историко-краеведческих, археологических, этнографических исследованиях. Таким образом, «высвободалась» огромная созидательная энергия, способствовавшая, в частности, развитию организационной самостоятельности в историко-краеведческой работе, в музейном деле. Научно-организационная ситуация, складывавшаяся на азиатских окраинах империи, по ряду признаков становилась ближе западноевропейской, чем русской.

В Европейской России широкое развертывание археологических исследований в палеоэтнологическом ключе произошло лишь в советское время – в 1920-х гг. – и было насильно оборвано в начале 1930-х. В Южной и Западной Сибири данный процесс начался много раньше. Указанные регионы явились для палеоэтнологов своего рода опытным полигоном. Этим и объясняется органичная преемственность традиций дои послереволюционной археологии Сибири, отмеченная В.И. Матющенко. Окончательно прервалась она тоже позже, чем в центре, – уже в эпоху Большого террора.

Книга **Глеба Сергеевича Лебедева** (1943–2003) представляет собой, без преувеличений, уникальное явление – и по широте охвата материала, и по глубине его осмысления. Написана она на базе курса лекций, читавшегося автором с начала 1970-х гг. на кафедре археологии истфака ЛГУ. Мне, студентке тех лет, слушавшей эти лекции, до сих пор памятли «нестандартные», по тем временам, трактовки Глеба Сергеевича. Первой из них стала поразившая нас, его слушателей, высокая оценка деятельности графа А.С. Уварова и выделение «уваровского периода» как одного из самых плодотворных в истории отечественной археологии – и в организационном, и в исследовательском плане.

Характерно, что концепция Г.С. Лебедева попала в печать лишь в 1992 г., оказавшись, таким образом, достоянием научной мысли уже 1990–2000-х. Но мои студенческие конспекты свидетельствуют о том, что в основе своей она была разработана не менее, чем за 20 лет до того, на пике эпохи «застоя» в СССР.

Г.С. Лебедев широко пользовался в своей периодизации понятием «парадигмы», заимствованным у Т. Куна. Среди выделенных им «парадигм» дореволюционной русской археологии присутствуют: антикварианистская, энциклопедическая, художественно-прикладная, бытописательская (по его мнению, занявшая на отечественной почве место эволюционистской), этнологическая, системно-экологическая. Смена базовых концепций трактовалась им как безусловный прогресс развития науки. В рамках XIX–XX вв. ученый выделял следующие этапы: «период ученых путешествий», продолжавшийся до 1825 г.; «оленинский период» – формирование первых научных центров 1825–1846 гг.; «уваровский период» 1846–1884 гг. – становление научных центров; «постуваровский период» 1871–1899 гг.; «спицынско-городцовский период» 1909–1918 гг.

Для периода 1919–1934 гг., в целом выходящего за обозначенные ранее хронологические рамки книги, автор выделил такие моменты, как: преобразование организационных структур – с 1919 г.; становление системы археологического образования и ее деформация под давлением политических факторов – 1922–1934 гг., с выделением подпериода 1929–1934 гг. – становления «теории стадильности».

Практически каждому из выделенных периодов у Г.С. Лебедева соответствует своя «парадигма»: оленинскому – художественно-прикладная, уваровскому – бытописательская, спицынско-городцовскому – этнологическая. В «постуваровский период», само название которого указывает на переживание каких-то устаревших представлений, уже отжившая «бытописательская» парадигма (в лице председателя МАО гр. П.С. Уваровой) катастрофически не давала простора развитию «системно-экологической» парадигмы, представленной заместителем той же гр. П.С. Уваровой – Д.Н. Анучиным.

Подобный подход к истории археологической науки в дальнейшем подвергся критике со стороны Л.С. Клейна, отметившего, что в истории нашей науки различные концепции (не «парадигмы»!) не столько сменяли одна другую, сколько сосуществовали (Клейн, 1995а). С этой критикой позднее согласилась И.В. Тункина (2001: 314).

Действительно, выделенные Г.С. Лебедевым периоды не связаны однозначно именно с движением археологической мысли. Скорее они отражают изменения социально-политической обстановки в стране, стимулировавшей, в свою очередь, подвижки общественного сознания, включая отношение к науке, новые тенденции в культурной жизни и т. д. Недаром «уваровский период» Г.С. Лебедева почти совпадает с «периодом создания организаций» А.А. Формозова, а «постуваровский» и «спицынско-городцовский», взятые вместе, составляют формозовский «период классификации древностей» России.

Атмосфера в стране, безусловно, влияла на характер археологических исследований. Происходившие изменения в действительности нельзя анализировать без учета таких явлений, как общественный подъем в первые годы царствования Александра II, а позднее – разочарование в реформах, резкое усиление политической реакции после убийства монарха и т. д. В этом смысле периодизация Г.С. Лебедева (как и периодизация А.А. Формозова), в первую очередь, отражает исторический контекст развития отечественной науки.

Действительно, образ русской археологии в 1860–1870-х гг. по целому ряду факторов отличается от периода середины 1880 – начала 1900-х. Этот последний период, в свою очередь, отличен от второй половины 1900–1910-х. Специфика конца 1910 – конца 1920-х гг. тоже не подлежит сомнению. Другой вопрос: можно ли напрямую связывать все эти периоды с *парадигмами* археологии?

Так или иначе, концепция Г.С. Лебедева представляет собой попытку отойти от позитивистской трактовки истории науки как простой рефлексии на социальную жизнь и *увязать воедино историческую конкретику с внутренней логикой развития археологии в России*. Насколько автору это удалось? Думаю, не вполне. Во всяком случае, концептуальные характеристики каждого из выделенных им периодов требуют специального разбора в конкретно-историческом ключе.

Второй уязвимый момент в лебедевской концепции парадигм уже был отмечен Л.С. Клейном. О том же, кстати, писал М.В. Аникович в уже цитированной статье (1989). Разные концепции на деле не «снимали одна другую» в истории отечественной археологии. Они развивались параллельно, отображая собой разные существенные стороны археологического исследования и периодически изменяя «соотношение сил» и влияний. Но в этом случае следует говорить не о «смене парадигм», а скорее об историческом развитии и вариативности нескольких основных концепций, противостоящих друг другу, но в чем-то друг друга постоянно дополняющих (ср. «исторические сверхтенденции» у Н.И. Ульянова).

Мне представляется, что в действительности в дореволюционной отечественной археологии последней трети XIX – начала XX в. существовало две основные научные платформы (=подхода) – гуманитарная (историко-культурная) и естественноведческая (антропологическая или палеоэтнологическая). Первая определяла археологию в целом как неотъемлемую часть истории (истории культуры). Вторая выделяла из нее первобытную археологию как часть естествознания (антропологии в широком смысле слова). Каждая из двух концепций была по-своему тесно связана и с практикой археологических исследований, и с характером запросов общества к археологии. В рамках каждой развивались свои школы и конкретные направления научного поиска.

Изначальность двух указанных концептуальных платформ в отечественной археологии недавно была подчеркнута в монографиях **Сергея Александровича Васильева** (род. 1956), посвященной изучению палеолита в России (2001–2002: 37–38; 2008: 18–20). В этих книгах затрагивается, в частности, и проблематика дореволюционного этапа исследований. Автор указывает, что у истоков отечественной археологии палеолита с самого начала было два научных подхода. Первый из них – исторический (или гуманитарный), безоговорочно включавший археологию в круг исторических наук, берет начало в трудах графа А.С. Уварова. В трактовке С.А. Васильева, он базируется на представлении об археологических памятниках как, в первую очередь, «национальных древностях», «остатках истории родного народа», доминировавшем в немецкой науке XIX в. Именно этот подход, по мнению автора, возобладал в дальнейшем в отечественной археологии советского периода. На нем основано современное понимание археологии как гуманитарной, исторической дисциплины. Второй подход – «антропологический» (или естественнонаучный), ассоциируется С.А. Васильевым с современным американским пониманием «антропологии». Истоки указанного подхода автор не уточняет, а основателем его на отечественной почве называет Д.Н. Анучина. Эта точка зрения обосновывалась автором и ранее, в том числе в статье, посвященной истокам различных идей и концепций российского палеолитоведения (Васильев, 1999).

На мой взгляд, представление об изначальноности противопоставления двух описанных подходов близко к истине, если рассматривать археологию палеолита не в общем контексте «доистории» XIX в., а как отдельную дисциплину. Если же анализировать первобытную археологию в целом, включая в нее, по меньшей мере, весь каменный век, то в ее историческом развитии сразу выявляется весьма яркий и значимый предшествующий этап, для которого характерно как раз отсутствие противопоставления гуманитарных и естественнонаучных методов при повышенном внимании к последним и общей культурологической направленности исследования. Данный этап определяется в истории археологической мысли как доминирование «скандинавской школы» исследований. В Европе он обнимает вторую четверть – середину XIX в. (Trigger, 1989: 81–86). В России влияние этой «школы» сказалось в работах ученых 1850–1870-х гг., производившихся по линии ИАН и РГО, в первую очередь, К.М. Бэра и его последователей (см.: 3.6–3.7, 4.1–4.2), а также в работах по первобытной археологии А.С. Уварова (см.: 4.3.3).

Некоторое сомнение вызывает у меня и четко проведенное С.А. Васильевым размежевание европейских научных традиций по географическому признаку. Восприятие археологических памятников как *национального культурного достояния*, а порою и напрямую – как остатков жизни собственных прямых предков («почтенных пращуров»), было присуще, на мой взгляд, не одной немецкой науке, хотя, спору нет, в ней оно выразилось весьма ярко и рельефно. Тем не менее в первой половине XIX в. данная тенденция проявлялась в европейской археологии повсеместно. По словам того же А.С. Уварова (речь при открытии Московского Археологического общества), «...чувство народности, пробужденное необходимостью для Европы сокрушить Наполеоновскую власть, обратилось, по умиротворении Европы, к изучению всего родного. Деятельно жило это чувство и ярко отразилось оно

в археологии <...> Под влиянием чувства народности, в Европе возникают Археологические Общества. Они дружными и совокупными силами занимаются исследованием родных памятников, не только отыскивают и определяют их, но и в особенности заботятся о сбережении их, как дорогих остатков жизни самого народа...» (Материалы для биографии... 1910: 127). Как я постараюсь показать ниже, разработка национальных древностей сама по себе явилась важнейшим этапом на пути превращения антикварианистской археологии в науку. Это показал исторический опыт всех без исключения европейских стран.

С.А. Васильев совершенно прав, утверждая тезис о *параллельности* функционирования двух указанных концептуальных платформ в русской археологической науке уже на ранних этапах ее развития (с последней четверти XIX в.). Со своей стороны, я считаю особенно важным показать *вариабельность* описанных выше подходов, базировавшихся на принципиально различных концепциях. Эта вариабельность, в конечном счете, и обусловила эволюцию научных школ в археологии.

Прежде чем кратко изложить суть данной проблемы, я коснусь еще одной периодизации отечественной археологической мысли, опубликованной в 1990-х гг. Ее создатель **Александр Владиленович Жук** положил в основу своей работы такой признак, как *состояние (разновидность) основного археологического источника*, являвшегося определяющим на том или ином этапе.

Период 1770–1830-х гг. А.В. Жук считает первой стадией становления археологии как самостоятельной науки. Это начало вызревания представлений о типологическом ряде в качестве источника. Но все же основным источником информации на данном этапе еще остается «отдельно взятый предмет». Новый этап (1830–1880-е гг.) представляет «вторую стадию становления археологии как самостоятельной науки». Основным источником становится «археологический комплекс» или, по определению А.С. Уварова, «совокупность признаков». Целью археолога становится «воссоздать действительную жизнь посредством памятников». Новые акценты выдвигают и новые приемы исследования. Разворачиваются массовые раскопки курганов, начинают составляться археологические карты.

После 1880-х гг. наступает последний период развития дореволюционной археологической мысли, характеризуемый «возникновением археологического источниковедения». Основным источником становится типологический ряд. Этот этап насильственно обрывается в эпоху Великого перелома (Жук, 1995: 4–6).

Попытка А.В. Жука построить периодизацию на основе внутренней логики развития науки представляется мне очень перспективной. Многие конкретные наблюдения исследователя заслуживают самого пристального рассмотрения.

Моя собственная трактовка развития отечественной археологии определяется признанием ключевого значения уже описанных выше двух основных концептуальных платформ (= подходов), прослеживаемых в русской археологии. В рамках первой из них – *гуманитарной или исторической* – развивалась целая серия отдельных направлений и школ. Вторая – *естествоведческая или антропологическая* — также демонстрирует в процессе своего развития заметную дифференциацию направлений.

В различные периоды времени обе концепции могли обнаруживать тенденции к сближению по ряду позиций или, напротив, к очень резкому размежеванию. Отдельные открытия и методические разработки, сделанные в рамках одной из них, как правило, через некоторое время становились достоянием и другой. Тем не менее важно понять: перед нами не просто два методологических подхода, а две разные *системы* научных и философских взглядов на науку о первобытности. Рассмотрению каждой из них посвящены отдельные разделы книги.

Глава 3

Начальный этап становления научной археологии в России

3.1. Различные «концепции» в русской археологии второй половины XIX в.: взгляд современника

Во второй половине XIX в. археология в России (как и в Западной Европе) являла собой нечто единое во многих ипостасях. По-прежнему оставалось в ходу представление об археологии как *истории искусств*, унаследованное от предыдущего периода и стимулировавшееся самим характером классических древностей. К 1860-м гг. оформилось новое понятие об археологии как *“бытовой истории всех народов”*, то есть науке, изучающей, выражаясь современным языком, историю культуры во всех её проявлениях (в вещественных памятниках, памятниках искусства, языка, народных обычаях и т. д.). Параллельно уже тогда в Россию проникло эволюционистское представление об археологии как дисциплине, изучающей этнографию и физическое строение человека на разных этапах его древней истории.

Выдающийся историк и теоретик исторической науки А.С. Лаппо-Данилевский был первым из русских ученых, кто попытался, еще на рубеже 1880–1890-х гг., сделать сравнительный аналитический обзор и русской, и западноевропейской археологической литературы. К сожалению, эта работа не была доведена до конца. В архиве исследователя сохранился лишь конспект лекционного курса «Археология Восточно-Европейской равнины (древнейший период)», во введении к которой нашли отражение результаты его изысканий по данному вопросу (ПФА РАН, ф. 113, оп. 1, № 309, лл. 6–18).

А.С. Лаппо-Данилевский выделял в европейской археологии три отдельных концепции – классическую, национальную и эволюционную. Сходную картину видел он и в отечественной археологии с поправкой на то, что «влияние эволюционной точки зрения пока <...> довольно незначительно» (Там же: л. 11). Данная точка зрения нигде не обосновывалась развернуто, но ее следует учитывать как важнейший аспект «образа отечественной науки» в указанный период. Тезис о слабом влиянии эволюционной концепции, безусловно, был справедлив для русской археологии рубежа 1880–1890-х гг. Бурное развитие палеоэтнологических исследований, базировавшихся на эволюционной парадигме науки, началось в России не ранее конца 1900-х.

Наиболее разработанной представлялась А.С. Лаппо-Данилевскому «национальная» концепция археологии, к которой он причислял И.П. Сахарова, А.С. Уварова и И.Е. Забелина – ученых, сформировавшихся еще в 1840–1850-х гг. Действительно, начиная с этого времени, интерес к археологии в образованных кругах русского общества неизменно подогревался «национальным чувством» в самых различных формах. Это был период «общего национального пробуждения» (выражение Н.П. Кондакова). Одним из его проявлений в середине – второй половине XIX в. стал рост интереса к истории родного народа и жажда национального самоутверждения. В обществе появились и широко распространились представления о том, что предметом изучения русской археологии (или русских «древностей») является *русский человек* – его быт, его жизнь в минувшие века отечественной истории. В середине XIX в. эта мысль буквально носилась в воздухе, ей недоставало лишь «обстоятельного развития и более-менее прочного обоснования, одним словом – авторитетности...» (Ардашев, 1909: 80).

3.2. Общественная подоснова развития «национальной археологии» и ее особенности в России второй половины XIX в.

Первая треть XIX в. в русской археологии проходит еще, в основном, под знаменем поклонения «антикам». Ощутимый перелом в отношении к отечественным памятникам – как «русским», так и «доисторическим» – начался лишь в 1850-х гг. Конечно, «первые ласточки» его появились значительно раньше. Это и «ученые путешествия» З. Доленго-Ходаковского, и деятельность таких историков, как М.П. Погодин и И.М. Снегирев, и начало архивных изысканий И.Е. Забелина о «русской старине», и, наконец, статьи В.В. Пассека, еще в 1830-х гг. утверждавшего, что путем раскопок курганов и городищ можно открыть «новую летопись – не обезображенную переписчиками, неопровержимую для наших кабинетных скептиков...» (цит. по: Формозов, 1984: 98). Но, как бы то ни было, заметные сдвиги в отношении русского общества к отечественным древностям представляют собой достояние уже середины XIX в. Характерно, что и в этот период ученые постоянно сетуют в своих работах на недостаточное внимание русских к родной старине и истории.

Невозможно однозначно классифицировать и оценить все проявления «национального чувства», которые изливались на страницы археологических публикаций в указанный период. Однако в основе их очень часто прослеживается стремление доказать право русского народа называться европейским народом с богатой историей. И это некоторым образом объединяло людей самых разных политических взглядов и позиций – демократов и консерваторов, естествоиспытателей и гуманитариев. Приведу лишь несколько примеров.

Известный публицист и критик В.В. Стасов страстно возмущался полупрезрительным отношением к русским национальным древностям, которое было характерно для ученых эстетов первой трети XIX в. В связи с этим он приводил цитату из предисловия А.П. Оленина к уже упоминавшемуся выше альбому «Древности Российского государства»:

«В числе моих рисунков находятся и такие, которые грубостью и уродливостью... покажутся недостойными сего собрания; но, за совершенным недостатком хороших того времени памятников, и сии, так сказать, карикатуры весьма драгоценны...» (цит. по: Стасов, 1882: 170).

Подобные взгляды русского археолога А.П. Оленина, высказанные в 1840-х гг., вызывали 30–40 лет спустя самое яростное отторжение. В связи с этим В.В. Стасов писал: «Оленин заставлял своих рисовальщиков выправлять иное в лицах, складках и проч. изображаемых в его атласе фигур. Нынешние археологи посмотрели бы с презрением на такие поправки и никогда не вздумали бы извиняться перед своим читателем за недостаточное изящество и грубость своего материала <...> Нынешний археолог заботится только об одном: как бы с наибольшей верностью и неумытою правдою передать <...> черты и особенности своего оригинала...» (Там же).

Археолог нашего времени куда спокойнее и, вероятно, с юмором отнёсся бы к оленинскому высказыванию о «карикатурах». Конечно, В.В. Стасов был совершенно прав, учитывая опыт современной ему археологической науки. Но за его гневными обличениями стояло, в первую очередь, уязвленное национальное чувство. И в этом он был не одинок. Близкую позицию обнаруживают печатные высказывания другого видного деятеля русской науки того времени – на сей раз уже естествоиспытателя и одновременно археолога – А.А. Иностранцева:

«Наши западные соседи, часто даже с предвзятою мыслью, дабы и с исторической стороны выставить нас народом крайне молодым, разбирая сказание Нестора, населяли

Россию ирокезами и другими совершенно дикими народами, относя такое население ко времени призвания варягов <...>.

Продолжительное время образованная часть нашего общества, с первых шагов своего воспитания и образования, росла на мысли, что раньше рассказа нашего знаменитого летописца Нестора на Руси ничего не было или, по меткому выражению г. Забелина, характеризующего отношение нашего общества к этому вопросу, на Руси было «пустое место» <...> *Эта мысль должна была лежать тяжёлым и продолжительным гнётом над умами даже талантливых деятелей. Что же было и отыскивать в «пустом месте»?*

<...> Вещественные доказательства в исследовании памятников быта, в раскопках курганов, пролили совершенно новый и неожиданный свет на древнее население России. Многочисленные раскопки курганов <...> обнаружили богатые остатки человека, принадлежащие не только тому времени, с которого начинается свой рассказ Нестор, но и значительно более отдалённому <...> Эти исследования были окном, через которое заглянул исследователь России во времена более отдалённые <...> (курсив мой. – Н.П.)» (Иностранцев, 1880: 275–276).

Цитированная статья А.А. Иностранцева предваряет собой его образцовую публикацию находок эпохи неолита на Ладожском канале, которая вышла из печати два года спустя (Иностранцев, 1882). После приведенной выше характеристики положения в русской археологии автор описывает в ней свои собственные открытия. В этом описании, обращённом к широкому читателю, он вполне объективен. Человек каменного века, чьи останки найдены (наконец!) в наших краях, показан без лишних прикрас – достаточно «диким»⁵. Нет никаких попыток определить его «народность» или связать ископаемый костный материал с более поздним населением России. Во всем этом А.А. Иностранцев проявляет себя как строгий, компетентный ученый, не признающий поспешных выводов.

Но слова о «тяжёлом и продолжительном гнёте», лежащем над умами тех, кто рождён «на пустом месте», достаточно красноречивы и сами по себе. Страна и народ, чья история не уходит корнями вглубь времён, оказывались в глазах нашего соотечественника второй половины XIX в. вроде бы не вполне полноценными. Перманентное ощущение «национальной уязвленности» русских даёт себя знать в трудах русских ученых на протяжении всей второй половины XIX в. И здесь внутренние убеждения естествоиспытателя-позитивиста, материалиста и атеиста А.А. Иностранцева обнаруживают глубинное родство с высказываниями православного христианина, археолога и историка графа А.С. Уварова. Их главный смысл можно выразить двумя фразами. Да, сейчас мы еще не дошли до понимания, каким народам принадлежат эти первобытные памятники и какое могли они иметь влияние на «последующих насельников России». Но то, что Россия в древности не была «пустым местом», очень важно для русского самосознания.

Не следует забывать: середина – вторая половина XIX в. стали в России временем бурного культурного строительства – быть может, одним из самых плодотворных и созидательных за всю историю нашей страны. Всего за несколько десятилетий оказались созданы: национальная русская литература (русский роман как литературное явление); национальная русская симфоническая музыка; национальная русская опера; национальная русская живопись (в первую очередь, пейзажная и жанровая). К тому же периоду относятся выдающиеся открытия русских учёных в самых различных областях естествознания. Нет ничего удивительного, что в печати тех лет кипели нешуточные страсти вокруг русской национальной культуры, и в частности вокруг *истории* этой культуры. Эта пассионарная подоснова, жажда национального самоутверждения на практике оказывалась основой многих куль-

⁵ Вероятно, даже более диким, чем на самом деле, но таково уж было общее заблуждение эволюционистов Золотого века: примитивность в области *техники* означала для них примитивность во всем.

турных достижений. В частности, становление русской национальной археологии реально обернулось резким расширением диапазона исследований, привлечением внимания к новым категориям памятников и контекстам их находок.

3.3. Основное противоречие русской археологии третьей четверти XIX в.

Формирование представлений об археологических памятниках как национальном достоянии служило «идеологическим оформлением» таких ключевых процессов, как: а) первичный сбор и систематизация данных по памятникам отечественной археологии; б) сложение первых контуров инфраструктуры археологической науки и государственной «археологической службы». Без выполнения этих задач дальнейшее развитие археологии как науки было бы невозможно.

В Западной Европе первой половины – середины XIX в. указанные процессы заняли почти полвека. «Национальная археология» строилась там во многом в русле идей, унаследованных от эпохи Просвещения. Это наследие способствовало укоренению в ней представлений о неуклонном технологическом прогрессе человечества, которые и привели к формулировке «системы трех веков» – каменного, бронзового и железного.

С другой стороны, в первой половине XIX в. приобрели огромную популярность сочинения по так называемой «общей географии» или «народоведению», трактующие, в частности, влияние природной среды на «дух» и историю народов (труды А. Гумбольдта, К. Риттера, его ученика Э. Реклю и др.). Именно они сформировали основу для серьезной научной постановки проблемы влияния географического фактора на культуру. В результате к середине столетия в Европе если не повсеместно, то, по крайней мере, в ряде стран, означенные выше задачи оказались выполнены: создана инфраструктура археологической науки в виде системы добровольных научных обществ и музеев; проведена первичная систематизация материалов.

В России появление сравнительно широкого интереса к «национальным древностям» запоздало на 20–30 лет по сравнению с Западной Европой. В результате указанные процессы оказались «спрессованы» здесь примерно в три десятилетия. Но куда большее значение имело то, что в России этот период хронологически совпал с «золотым веком эволюционизма» (конец 1850 – 1870-е годы). В результате осмысление археологических памятников как национального достояния поневоле происходило в нашей стране в принципиально иной обстановке и атмосфере по сравнению с Западной Европой первой половины XIX в.

В указанный период в науке уже стали свершившимися фактами и эволюционная геология Ч. Ляйелла, и эволюционная социология Г. Спенсера, и теория естественного отбора Ч. Дарвина. Труды этих ученых, равно как и труды их многочисленных популяризаторов, весьма оперативно переводились на русский язык, причем нередко русские переводы запаздывали, по сравнению с оригинальной публикацией, лишь на 1–3 года. Повальное увлечение русской молодежи 1860–1870-х гг. трудами Н.Г. Чернышевского и Д.И. Писарева, опиравшихся, в свою очередь, на труды известных эволюционистов (К. Фогта, Т.-Г. Гексли, Э. Геккеля и др.), повело к сложению своеобразного «культа естествознания» в русском образованном обществе, сопровождавшееся настоящими творческими «прорывами» в таких областях, как математика, химия, биология, медицина и пр. (открытия Н.И. Лобачевского, Д.И. Менделеева, И.П. Павлова, К.А. Тимирязева, Н.И. Пирогова и многих других).

Параллельно наблюдалось ускоренное развитие позитивистского направления в исторических науках (деятельность В.И. Герье, Н.И. Кареева, М.М. Ковалевского и др.). В основе его лежало, как известно, стремление выявить и исследовать устойчивые «законы» истории человечества, всемерно приблизить историческое познание к естественнонаучному, установить для него методы, не уступающие по своей точности методам, разработанным в естествознании. Указанный процесс напрямую затронул и русскую археологию. Уже на раннем этапе, в 1850–1870-х гг., здесь появляются свои идеологи позитивизма, сформулировавшие

методологические основы исследования (И.Е. Забелин, Ф.И. Буслаев, П.В. Павлов и др.). Порою выдвинутые ими идеи оказывались весьма передовыми в контексте не только русской, но и мировой науки того периода. Это в первую очередь верно для концепции понимания археологии и ее методов, выдвинутой русским историком и археологом П.В. Павловым на III Археологическом съезде (см.: 4.3.2).

В то же время практическое освоение отечественных древностей в России к концу 1850-х гг. оказалось, по сути, только начато. Помимо отдельных «точечных» (и, как правило, бессистемных) раскопок, в активе русских археологов имелись лишь систематические исследования владимирских курганов (1852–1853 гг.), осуществленные А.С. Уваровым и П.С. Савельевым, да раскопки В.В. Радловым около 150 курганов на Алтае, в Минусинской котловине, в Барабинской и Киргизской степи (в 1863–1869 гг.). Структура археологической службы, потребной для выполнения таких задач, как регистрация, исследование и хотя бы приблизительная систематизация памятников по регионам, тоже находилась в начальной стадии формирования.

Идеи эволюционизма и позитивизма интенсивно осваивались в России как учеными, так и широкой читающей публикой. Но они существовали как бы в отрыве от памятников, от проблем «практической» археологии. Это ключевое противоречие между очень высоким уровнем академической и университетской науки в ряде крупных городов, с одной стороны, и слабой первичной изученностью российских древностей – с другой, не могло не наложить отпечатка на весь процесс становления отечественной археологии в третьей четверти XIX в. В силу неразработанности инфраструктуры археологии в России, вкупе с обширностью ее территорий, работа по первичному сбору и систематизации материала подвигалась вперед очень медленно, в основном силами отдельных, разобщенных меж собой энтузиастов. Требовалась еще долгая и кропотливая работа в этом направлении, чтобы на базе российских древностей стал возможен, к примеру, серийный анализ отдельных категорий находок. А без такого анализа, без возможности широкого применения сравнительного метода к конкретному материалу, эволюционная идея неизбежно оставалась посторонней археологическому исследованию – вне зависимости от собственных научных взглядов того или иного археолога. Сам исследователь мог быть по своим убеждениям эволюционистом, позитивистом, дарвинистом и т. д., но вступив в область изучения отечественных археологических материалов, он волей-неволей должен был сосредоточиться либо на разведках и первичной систематизации источников, либо на вопросах комплексного исследования конкретного памятника (то есть на поиске возможностей привлечения смежных дисциплин к решению проблем его изучения).

3.4. Русская археология или «археология русских»? М.П. Погодин, И.П. Сахаров, И.Е. Забелин, А.С. Уваров

Уровень разработки «национальных древностей» в России середины XIX в. вполне может быть охарактеризован как антикварианизм и коллекционерство. Ярким примером тому являлась деятельность М.П. Погодина, который, как и многие другие учёные XIX в., шёл к археологии от занятий отечественной историей. Свои труды по древнерусской истории он снабжал приложениями, куда входил и атлас всех известных тогда археологических памятников «дотатарского периода». Однако при изучении «вещественных» памятников Погодин, по образному выражению Н.П. Кондакова, «держался наглядки коллекционера» (Кондаков, 1901: 6), отстаивая полную невозможность изолированного изучения письменных, бытовых и вещественных древностей.

«<...> Живой взгляд на нераздельную родную старину, – писал Н.П. Кондаков, – он [Погодин. – *Н.П.*] должен был найти у староверов, иконников, собирателей и торговцев древностями...» (Там же). Тут налицо ещё в полной мере «антикварианистский подход» к памятникам, просто место «антиков» заняли русские иконы, старинные рукописи и предметы прикладного искусства Московской Руси.

Следует сразу оговорить: на раннем этапе развития исследований по истории русской культуры подобный взгляд был оправдан, ибо он с необходимостью вытекал из самого состояния изученности материала. С этим, кстати, необходимо считаться и при анализе теоретического наследия А.С. Уварова. На рубеже 1840–1850-х гг., да и позднее, представления о «русских древностях» даже весьма близкой допетровской эпохи (не говоря уж о древнерусской!) оказывались порою достаточно фантастичными. Так, в парадно изданном альбоме «Древности Российского государства» (1846–1853) рисунки Коломенского дворца, построенного при царе Алексее Михайловиче (XVII в.), еще фигурировали в качестве образца древнейшей русской архитектуры. Причиной тому, безусловно, служила недостаточная разработка, в первую очередь, письменных, архивных источников. Ведь с помощью их вполне можно было установить правильную хронологию и последовательность форм позднесредневекового русского зодчества, что вскоре и было сделано.

Опыт первой специальной теоретической разработки русской археологии, вышедший из-под пера **Ивана Петровича Сахарова** (1807–1863), имел отчетливую ультра-патриотическую направленность. «Мы долго безмолвствовали пред вековыми памятниками своего Отечества! – патетически восклицал автор. – Ныне да не будем безответными зрителями своих древностей. *Да не думают чужеземцы, что у русских писателей нет стремления к изучению своих памятников...* (курсив мой. – *Н.П.*)» (Сахаров, 1851: 4).



И.П. Сахаров (1807–1863)

И.П. Сахарова трудно считать профессионалом в науке даже для середины XIX в. Это был своеобразный тип деятеля культуры той поры – яркий представитель чисто «публицистического» подхода к истории, при этом весьма способный организатор, имевший влияние в РАО (Срезневский, 1864). Глубоко проникнутый «национальной идеей», он, однако, не гнушался в своих работах ни подлогом, ни плагиатом (Формозов, 1984: 81). По своему мировоззрению И.П. Сахаров был еще плоть от плоти прежнего, XVIII века, когда история и политика откровенно смешивались даже в трудах серьезных ученых, а прославление Отечества и русского народа ставились безусловно выше исторической объективности. К числу представителей такого подхода к истории принадлежал, например, М.В. Ломоносов. Но сегодня та же объективность требует признать: в каком-то смысле именно И.П. Сахаров явился первопроходцем в деле определения отечественной археологии как науки.

По его представлениям, область археологии должна включать изучение *событий и преданий* отечественной истории: «Археология описывает жизнь народа по сохранившимся памятникам, изучает его быт в храмах, зданиях и домашних утварях, решает трудные вопросы его истории там, где молчат летописи...» (Сахаров, 1851). В целом создается впечатление, что археология, в данной трактовке, направлена на изучение, в первую очередь, *духовной культуры* прошлого («следы древних идей и народных верований», «творческая сила народа» и т. д.). Вопросы исследования *материальной культуры* («быт народа») тоже рассматривались И.П. Сахаровым, но самый подход его к «древностям» был чисто иллюстративным. По-видимому, он даже не подозревал, что для решения каких-то проблем древней истории, памятники следует подвергать специальному анализу. По его мнению, археология как «наука древних искусств и художеств, правдива и беспристрастна потому, что памятники, чуждые всяких личностей, носят сами в себе бесспорную достоверность, сами за себя говорят вернее всех человеческих выводов» (Там же).

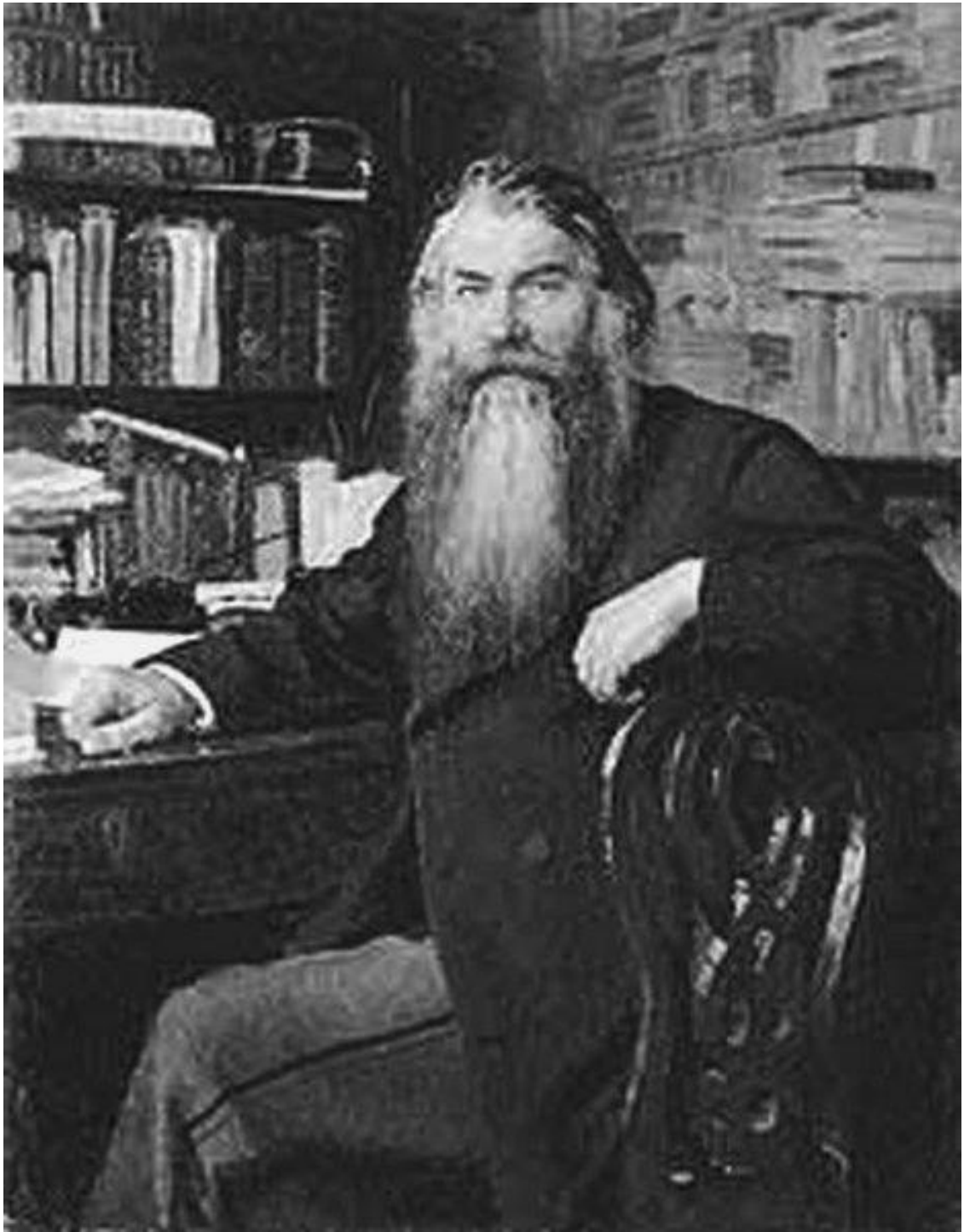
С точки зрения И.П. Сахарова, «русская археология» обнимает «последние 7–8 веков», подразделяясь на три эпохи – «византийскую, татарскую и европейскую» – и должна изучать «русского человека как творца своих искусств и художеств» (Там же). Таким образом, предмет и задачи русской археологии сужались им до «изображения древней русской жизни» в течение первых восьми веков, начиная с X в. Памятники более раннего, языческого периода, по словам автора, «исчезли с лица земли», и о них можно только «предполагать гадательно». Таким образом, с одной стороны, наблюдается явное стремление использовать «древности» для воссоздания русской истории (точнее, истории русской культуры, народного быта). С другой стороны, налицо полная беспомощность исследователя, едва заходит речь о временах «бесписьменных», когда при объяснении «вещественных древностей» невозможно опереться на письменные источники: «Подземный мир, где, может быть, сокрыты памятники наших языческих веков, нам неизвестен...» (Там же). Археологические памятники России, не имевшие прямого отношения к собственно *русской старине*, вообще оставались вне поля зрения автора.

При всей архаичности, неразработанности определения археологии, данного И.П. Сахаровым, высказанное им понимание археологии как чисто культурологической дисциплины, «истории культуры», имело значение для науки (Аникович, 1989: 6). Отдельные наблюдения автора представляются совершенно верными. К числу их относится, в первую очередь, разделение всей археологии на археологию «исчезнувших» и «бытующих» народов – по характеру источников. Первая «составляет его [народа. – *И.П.*] историю за неимением летописей и актов, из обломков протекших веков. Все её источники заключаются в подземном мире, где сокрыт прах первобытных народов с их памятниками...» Вторая использует, письменные источники и памятники, сохранившиеся в живом быту. Лишь в последнюю очередь она привлекает «открытия подземного мира» (Там же). Здесь автором впервые смутно уловлена важная специфика, составляющая особенность, с одной стороны, первобытной археологии, располагающей исключительно вещественными источниками для воссоздания древней истории, и, с другой стороны – археологии исторических эпох. В последнем случае археологические материалы должны сопоставляться с данными письменных источников, играя в историческом построении хотя и важную, но далеко не всегда определяющую роль.

Впрочем, смысл указанного наблюдения изрядно затемнён у Сахарова неудачно приведёнными примерами. Так, «исчезнувшими» названы у него древние народы Египта, Греции, Рима и Мексики. Но во всех этих случаях мы имеем дело не с неизвестными, а как раз с «историческими» народами, от которых, помимо «открытий подземного мира», в избытке сохранились памятники языка, литературы, фольклора, а также правовые акты, исторические анналы и т. д. Последнее дало повод И.Е. Забелину назвать упомянутое разделение «выдуманным» и указать, что «археология или древности» этих народов «заключаются в

летописях, актах <...> в наличных памятниках и в открытиях подземного мира точно так же, как и народов существующих» (Забелин, 1873: 83).

«Обозрение русской археологии» было встречено в археологических кругах не слишком благожелательно. Современники И.П. Сахарова отмечали многочисленные недостатки его работы. Указывалось, в частности, что хронологический диапазон археологии в «Обозрении» неоправданно узок, а формулировки излишне напыщенны, расплывчаты и неточны. При ограничении области изучения «семью – восемью веками» из поля зрения ученых полностью выпадало «изучение дохристианских славяно-русских древностей». Да и «византийская эпоха» в истории Руси в действительности не вмещалась в указанные хронологические рубежи. В лучшем случае И.П. Сахарову отдавали должное как автору первой попытки идейной, теоретической разработки науки о национальных древностях. Однако саму эту попытку современники (А.С. Уваров, П.И. Лерх) признали неудачной.



И.Е. Забелин (1820–1908)

Самую жёсткую критику встретила она в уже цитированной статье **Ивана Егоровича Забелина** (1820–1908), опубликованной впервые в 1852 г. и переизданной затем в сборнике его трудов 1873 г. Рецензент констатировал у Сахарова «<...> не только устарелый взгляд вообще на археологию, но даже запутанность и неясность в самом приложении этого взгляда к объяснению наших древностей» (Там же: 79). Раздражённый тон рецензии отчасти объяснялся личной обидой. И.П. Сахаров цинично использовал в статье неопубликованные разработки Забелина по истории русских ремёсел, присланные в РАО на соискание уваровской премии и в тот момент ожидавшие публикации. Впрочем, в рецензии содержится лишь намёк на использование автором неких «*рукописных источников*» (Забелин, 1873: 89). Шат-

кость собственного положения не позволила Ивану Егоровичу бросить прямое обвинение в плагиате одному из руководителей РАО.

Большая часть его замечаний носила вполне принципиальный характер. Отмечу из них наиболее важные. «Памятники <...> действительно, носят в себе бесспорную достоверность, – писал И.Е. Забелин, – но кто ж из этого будет заключать, что археология правдива и беспристрастна? Археология уже не факт, а наука, то есть понимание факта: а понимание бывает нередко и даже часто весьма далеко от той правды, которую носит в себе факт или памятник <...>» (Там же: 81).

Критически отнёсся И.Е. Забелин и к утверждению Сахарова, что «требования к русской археологии <...> отличаются <...> особенностями, каких мы не встречаем в археологии других народов». По его мнению, все выдвинутые автором «требования» на деле не содержат никаких особенностей. То, что реально перечислено в статье (необходимость систематического обозрения древностей страны, изображение древней жизни по памятникам и т. п.), применимо не только к русской археологии, но и к археологии в целом (Там же: 83–84).

Как уже говорилось выше, статья И.П. Сахарова рассматривалась нашей историографией как первый (пусть не слишком удачный!) опыт теоретической разработки в России *национальной археологии*. Именно под таким углом зрения она анализировалась А.С. Лаппо-Данилевским в курсе лекций 1892 г. Выражением того же подхода историк считал труды И.Е. Забелина и А.С. Уварова, несмотря на их немалые расхождения в определениях предмета археологии и весьма критическое отношение к ультрапатриотизму И.П. Сахарова.

Действительно, сам по себе тезис Сахарова об «изучении русского человека как творца своих искусств и художеств» и воссоздании его «древней жизни» в ходе археологического исследования был достаточно близок и его строгому критику И.Е. Забелину. Последний выделял *историю человеческой культуры* как возникший в 1860–1870-х гг. «особый отдел антропологического знания», где «умственное и нравственное развитие [человека. – И.П.] составляют главнейший предмет научных исследований» (Забелин, 1878а: XXIII). В прениях на III Археологическом съезде И.Е. Забелин даже заявил, что эта «история культуры, в сущности, есть археология», а «весь материал, которым она пользуется, есть материал археологический» (Там же). Впрочем, в других работах учёный, как правило, различал историю культуры и археологию, указывая, что эти две дисциплины отличаются «взглядом на предмет» – изучают один и тот же материал в разных аспектах (Забелин, 1878: 6–7). Подробнее эти сюжеты рассмотрены ниже, в главе 4.

А.С. Уваров, со своей стороны, не только утверждал, что любовь к отечественным древностям приносит археологам добрые плоды, но и определял «русскую археологию» как «науку, занимающуюся *исследованием древнего русского быта по памятникам, оставшимся от народов, из которых сперва сложилась Русь, а потом Русское государство* (курсив мой. – И.П.)» (Уваров, 1878: 32). Здесь как будто бы наблюдается прямая идейная перекличка со старой работой И.П. Сахарова. Но, если принять во внимание собственную исследовательскую практику А.С. Уварова, дело обстоит совсем не так.

Исследования владими́ро-сузда́льских курганов, предпринятые им в 1852–1853 гг. совместно с П.С. Савельевым, привели учёного к выводу, что раскопанные погребения принадлежат не славянам, а летописному племени меря (финно-угорского происхождения) (Уваров, 1872). Такого взгляда А.С. Уваров придерживался до конца жизни. Но от этого полученные археологические материалы отнюдь не теряли интереса ни для него самого, ни для его ближайших сотрудников.

В дальнейшем этот страстный любитель и знаток родной старины предпринял огромный труд по изучению древностей каменного века в России. Платформа, подведённая им под необходимость такого исследования, является весьма характерной: «Теперь, в данную минуту, мы не дошли еще до полного уяснения, каким народам принадлежат все эти памят-

ники и какое могли иметь влияние эти народы на последующих насельников России; однако и теперь мы не вправе отрицать *a priori* всякую связь между этими народами первобытной эпохи и нашими историческими племенами, тем более, что народы бронзового периода <...> служили, наверное, средним звеном между этими племенами каменного века и племенами, указанными в летописи <...>» (Уваров, 1878: 33).

Из этого прямо следует вывод: да, лично А.С. Уварову, безусловно, были в высшей степени интересны генетические связи народов. Но он прекрасно понимал ненаучность современных ему суждений об этнической принадлежности племен, оставивших «первобытные древности».

Таким образом, уваровский «древний русский быт» на деле следует толковать расширительно. Это есть культура (вернее, *культуры*) самых различных «насельников России» в самые различные периоды. Историческую ценность для А.С. Уварова имели не одни лишь «древности русских», поднятые на щит И.П. Сахаровым, но «древности Российской империи», представлявшие собой в совокупности её национальное достояние. Независимо от личных пристрастий, он полагал своим долгом ученого изучить всё, что сохранила земля России от самых отдалённых эпох каменного века. Несколько забегаю вперед, следует отметить: именно такое понимание «национальной археологии» имело прямое продолжение в трудах А.А. Спицына 1890–1910-х гг. Позиция графа Уварова – это, в сущности, позиция историка-государственника, исследующего почву, на которой выросла современная ему многоликая Россия.

Данный вывод заставляет по-особому оценить настойчивые призывы А.С. Уварова развивать в России отечественную, национальную археологию. Сказанное выше не оставляет сомнений: по своему мировоззрению граф был весьма далек от ультрапатриотизма. Но, будучи одарен от природы выдающимся талантом организатора, он безошибочно определил тот путь, которым должно было следовать, чтобы ускорить процесс первичного освоения отечественных древностей. Это был путь пробуждения общественной самостоятельности и привлечения возможно более широких кругов общества к работе в области сбора информации о памятниках археологии и их первичного обследования. С этой целью Алексей Сергеевич, создавая Московское Археологическое общество, апеллировал к национальному чувству, «чувству народности» – тому, что могло сплотить (и нередко спланивало) людей различных взглядов и убеждений.

Несомненно, такое решение подсказала графу та исследовательская практика, которую он мог наблюдать в Западной Европе во время своих неоднократных выездов за границу. По его убеждению, именно национальный подъем, вызванный общей для многих европейских стран освободительной борьбой с Наполеоном, способствовал пробуждению в них интереса к собственной древней истории: «<...> Под влиянием чувства народности, в Европе возникают Археологические Общества. Они дружными и совокупными силами занимаются исследованием родных памятников, не только отыскивают и определяют их, но и в особенности заботятся о сбережении их, как дорогих остатков жизни самого народа <...>» (Материалы для биографии... 1910: 127).

3.5. «Винкельмановское» направление в русской археологии и начало разработки национальной тематики: С.Г. Строганов, Ф.И. Буслаев

«Винкельмановское» направление традиционно развивало в России тематику классической и скифо-сарматской археологии Причерноморья. Основным источником информации в первой половине – середине XIX в. являлся здесь, как совершенно верно отметил А.В. Жук, «отдельно взятый предмет», но не всякий древний предмет, а такой, в котором запечатлелись следы художественного творчества или искусства. В основе методологии художественно-исторического анализа лежали, еще со времен самого И. Винкельмана,

- идея эволюции искусства (точнее, постоянного его *изменения*, как прогрессивного, так и регрессивного);

- сравнительно-исторический метод, подразумевавший привлечение аналогий;

- группировка материала по художественным «стилям», определяемым как устойчивое сочетание признаков, характерных для определенных народов (социумов) в различные хронологические периоды.

Сильной стороной данного направления было то, что именно здесь вырабатывался и совершенствовался метод анализа собственного, неповторимого материала археологии – вещественных и изобразительных памятников (пусть даже поначалу – исключительно произведений искусства). Обратной стороной и слабостью указанного подхода в археологии являлось традиционно недостаточное внимание к контексту нахождения «предмета» и игнорирование массового и серийного материала, в котором не замечалось следов художественного творчества.

В конце 1850–1860-х гг., через творчество **Федора Ивановича Буслаева** (1818–1897), в сферу «винкельмановского» направления впервые вошла, помимо классической, и «национальная» тематика – средневековая русская иконопись, миниатюра и орнаментика. Конечно, творчество этого ученого относится, по большей части, к сфере «искусствознания» и литературоведения, а не к археологии как таковой.



Ф.И. Буслаев (1818–1897)

Но тесная взаимосвязь, неразделенность всех указанных областей в рамках «винкельмановского» направления наблюдалась вплоть до последних десятилетий XIX в. Характерно, что один из посмертных сборников статей Ф.И. Буслаева был озаглавлен: «Сочинения по археологии и истории искусства» (Буслаев, 1908). Кроме того, явная преемственность буслаевского творчества с творчеством его учеников-археологов Н.П. Кондакова и Н.В. Покровского не позволяет оставить без внимания методологические поиски их учителя. Первый из этих учеников стал создателем всемирно известной художественно-исторической «школы Кондакова», второй – видным представителем и теоретиком русской «церковной археологии».

Для историка археологической науки чрезвычайно интересны творческие и личные связи Ф.И. Буслаева с таким деятелем русской археологии, как председатель ИАК граф **Сергей Григорьевич Строганов** (1794–1882). Последний традиционно воспринимается мно-

гими историками как вельможа, придворный ставленник на руководящие посты, имевший к науке весьма отдаленное отношение. Даже наиболее известный печатный труд С.Г. Строганова по истории древнерусского зодчества – альбом «Димитриевский собор во Владимире (на Клязьме)» с описаниями этого памятника (Строганов, 1849) – давно стал библиографической редкостью, и большинство современных археологов просто не знают о его существовании. В основе современных оценок – положительных или отрицательных – лежит обычно лишь отношение к административно-организационной деятельности графа на постах попечителя Московского учебного округа, воспитателя цесаревича и, наконец, председателя ИАК.



С.Г. Строганов (1794–1882)

Мало кто из современников и потомков ставил под сомнение личную порядочность графа и ту несомненную пользу, которую он принес отечественному просвещению. Приведу лишь два характерных высказывания историков:

«Не обладая ни острым умом, ни глубокими знаниями, Строганов умел ценить и то, и другое в своих подчиненных. Именно ум и знания были критерием, которым он определял свое отношение к окружающим. <...> Спина у Строганова гнулась туго: он не то что перед Уваровым [Сергеем Семеновичем. – *Н.П.*], которого в грош не ставил, он перед самим Николаем не боялся отстаивать свое мнение. <...> Искренняя любовь к просвещению сочеталась в нем с не менее искренней преданностью охранительным началам, отсюда – постоянная внутренняя борьба <...>» (Левандовский, 1990: 108–109).

«Высоко оценив покойного [С.Г. Строганова. – *Н.П.*] как организатора, он [И.Е. Забелин. – *Н.П.*] сделал одно любопытное замечание: у него был «редкий талант <...> охранять людей науки от антинаучных нападений и невзгод». Это верно: боевой генерал, участник Бородинской битвы, далекий от науки, волею судеб оказался в роли «организатора науки». Он не был к ней подготовлен, но чутье подсказало ему наиболее правильный путь – не командовать учеными, <...> а дать им возможность спокойно работать, оберегая от нападок извне» (Формозов, 1984: 38).

Таким образом, в современной историографии утвердился довольно привлекательный образ графа Строганова как человека и государственного деятеля. И все-таки, в свете сказанного выше, достаточно неожиданным выглядит искреннее восхищение Строгановым как ученым, запечатленное для потомков в воспоминаниях такого видного специалиста, как академик Ф.И. Буслаев.

Переход самого Буслаева от занятий классической и русской филологией к истории русского искусства совершался в 1850-х гг. практически без помощи наставников из числа отечественных ученых. Среди исследователей старшего по сравнению с ним поколения просто не было таковых. «Раздел этот в истории русского искусствознания был представлен исследователями, не сумевшими или сознательно не желавшими опереться на достижения современной им западной науки» (Кызласова, 1985: 35–36). К числу их относились уже неоднократно упоминавшийся здесь И.П. Сахаров, а также И.М. Снегирев и др. В их трудах уже нашла отражение мысль о необходимости выявлять связи искусства с «духом века», но дальше деклараций дело не пошло. «Попытки реализовать эти задачи в конкретных исследованиях или не предпринимались, или проводились излишне прямолинейно» (Там же: 36).

Единственным исключением оказался, как ни странно, граф С.Г. Строганов – известный коллекционер и знаток искусства, в том числе древнерусского, обладавший в этой области очень широким кругозором. «<...> Как много обязан я в своих исследованиях по иконографии и вообще по искусству назидательным советам и указаниям графа Сергея Григорьевича, а также и его собственным печатным работам по этим предметам.» – писал впоследствии Ф.И. Буслаев (1897: 171). По его признанию, именно сочинение Строганова о Дмитриевском соборе, где этому памятнику была дана высокая эстетическая оценка, впервые пробудило в нем самом «страстную охоту к исследованию русской, византийской и романской иконографии и орнаментики»: «Он [С.Г. Строганов. – *Н.П.*] был для меня вторым университетом, <...> высшим и заключительным <...>» (цит. по: Кызласова, 1985: 38, прим. 49). Подобную оценку графа со стороны одного из выдающихся русских археологов-искусствоведов, несомненно, стоит иметь в виду при ответе на вопрос, почему император Александр II предпочел кандидатуру С.Г. Строганова на должность председателя ИАК. Безусловно, этот аристократ, родившийся еще на исходе XVIII в., уже в силу сословных предрассудков не мог воспринимать ученую деятельность как основное дело своей жизни. Ему на роду было написано два занятия – военная и статская служба. Но его одаренность как ученого, скорее всего, недооценена. Во всяком случае, современники ценили графа больше, чем потомки (подробнее о нем см.: Платонова, 2009а; 2009б). Впоследствии Ф.И. Буслаев посвятил наставнику одну из своих главных книг – «Русский лицевой Апокалипсис» (1884).

Ф.И. Буслаев привнес в область древнерусского искусствознания широкую европейскую образованность и прочный научный фундамент «винкельмановской» школы. Сам И.И. Винкельман навсегда остался для него высочайшим авторитетом, гениальным ученым, далеко опередившим свое время. Период, когда Федор Иванович обратился к материалам Древней Руси, совпал с расцветом культурно-исторической школы в Германии. Тогда же Ф. Боппом и Я. Гриммом были заложены основы сравнительно-исторического метода. В творчестве самого Ф.И. Буслаева в значительной мере переплелись установки культурно-исторической и сравнительно-исторической школ (Академические школы... 1975: 175, 199). По мнению И.Л. Кызласовой, суть выработанного им собственного оригинального метода «заключалась не в сравнении как исследовательском приеме, а в понимании *исторической связи отдельных культур, в признании сходства их путей, неизбежности и плодотворности их взаимовлияний*. Закономерно, что особое внимание при этом уделялось вопросам возникновения или развития того или иного элемента культуры. Таким образом, сравнительно-историческое изучение предполагало исследование различных форм культуры в историко-генетическом плане – горизонтальные срезы отдельных сфер культуры <...> сопоставлялись между собой (курсив мой. – Н.П.)» (Кызласова, 1985: 45–46). В этой характеристике уже отчетливо проступает то, что в дальнейшем было разработано, углублено и введено в археологию учеником Ф.И. Буслаева Н.П. Кондаковым – представление о непрерывности культурных взаимодействий и о механизме образования новых культурных традиций путем *слияния* старых.

Сам Ф.И. Буслаев называл свой метод работы исключительно «сравнительно-историческим», не используя иных определений, применявшихся к нему *post factum* (эстетико-исторический, иконографический и т. д.). Исторический процесс как таковой представлялся ему в виде постоянного чередования периодов «расцвета» и «упадка». Идея эволюции культуры занимала в творчестве Ф.И. Буслаева важное место, но он был далек от того, чтобы считать эту эволюцию однозначно прогрессивной и однонаправленной (Буслаев, 1866).

Духовная культура Древней Руси воспринималась ученым как одно нераздельное целое. Анализ памятников изобразительного искусства, литературы, орнаментики сплетался в его трудах воедино. Так, например, икона воспринималась Ф.И. Буслаевым как «перевод церковных молитв и стихов на язык живописи (курсив мой. – Н.П.)» (Буслаев, 1930, II: 145). Сложный процесс образования нового художественного «стиля» Федор Иванович умел представить и описать исключительно образно и ярко: «Посеянное зерно византийской традиции должно было с болью разрушиться, чтобы дать живой росток славянскому орнаменту <...> Все, что было в стиле византийской орнаментики строгого и спокойного, теряет свою меру и грацию. Гибкие линии ломаются резкими углами <...> Тут не беспомощная неумелость самоучки, который боязливо и вяло портит в своей убогой копии красивый образец, а смелая и бойкая рука отважного удальца, который привык громить классические сооружения античного мира и их монументальные развалины <...> пригонять на скорую руку к своим невзыскательным потребностям и поделкам <...>» (Буслаев, 1930, III: 102, 109).

Ф.И. Буслаев проявлял интерес и к такой новой по тем временам области знания, как общая антропология, понимавшаяся тогда как синтез данных этнологии, фольклора, первобытной археологии, сравнительной лингвистики, психологии, зоологии и т. п. Отношение его к исследованиям в данной области было неоднозначным. Учение Ч. Дарвина о борьбе за существование и роли естественного отбора ученый признавал, но лишь в тех границах, которые ставила ему зоология. Попытки распространить те же законы на историю человека разумного представлялись ему ошибочными.

Очень высоко ставя «метод позитивных наук», и в частности эволюционную этнологию Э. Тайлора, Федор Иванович резко критиковал всякие попытки создания компилятивных «первобытных историй» человечества на базе разнородных данных и откровенных

домыслов, произвольно втиснутых в эволюционистскую схему. Главным объектом критики служил явный, с его точки зрения, непрофессионализм и сугубая предположительность обобщений такого рода. Как едко замечал в этой связи Ф.И. Буслаев, за «конкретного первобытного человека» выдавалась некая «пустопорожняя форма», в которую можно было вложить что угодно. А чтобы «не пустословить», авторам работ такого рода приходилось заимствовать результаты, полученные сравнительной лингвистикой (Буслаев, 1873: 698, 700).

«За разнохарактерностью массы сведений, требующих специального знакомства с каждым из их отделов, авторам ничего не остается, как компилировать чужие работы, обобщая их с точки зрения философской <...> – читаем мы в рецензии на книгу ученого-дарвиниста, доцента Гейдельбергского университета О. Каспари. – <...> Не чувствуя призвания ни к сравнительной лингвистике, ни к древней филологии, они более склонны к наукам естественным <...> Этнограф и психолог [О. Каспари. – *Н.П.*], очевидно, увлекся счастливою мыслью построить науку о народности на некоторых результатах, добытых <...> естественными науками, и метод этих наук приложить к такому же точному учению психологии, которое должно быть положено в основу учения о <...> всей духовной деятельности человека <...> Но, как бы хороша ни была мысль сама по себе, годность ее познается в исполнении <...>» (Там же: 692, 698).

«Исполнение» же, с точки зрения Ф.И. Буслаева, оказалось ниже всякой критики. По его словам, «автор обещает держаться положительного метода естественных наук, а вместо этого громоздит предположения на предположения». Никакая «ученая проверка» на такой зыбкой почве невозможна: «Тут нет места для ученого спора, наконец, нет места и для самой науки. Автор рассуждает об языке, но не о том, который знает сравнительная лингвистика по памятникам письменности и устным говорам <...>, а о том, который когда-то мог бы быть <...> Автор подробно характеризует племена людей, но не те, которые знают история и этнография, а те, которые могли бы образоваться, если бы человек ходил на четвереньках. Может быть, во всем этом много изобретательности, <...> но какая же тут положительность метода, какая тут наука?» (Там же: 699).

Без сомнения, здесь критик попадал в самую точку. Естествознание последней трети XIX в. усиленно стремилось включить в свою область всю науку о первобытности (включая доисторическую археологию и сравнительную этнографию). Подразумевалось, что рассмотрение древнейших этапов человеческой истории с естественно-исторических позиций с помощью методов естественных наук послужит к большей обоснованности выводов. Однако все точные науки, все естествознание как таковое, подразумевало опытный характер результатов, их безусловную *проверяемость* и *повторяемость*. В сфере истории, тем более древнейшей, это последнее оказывалось невозможным. Как только из области сбора и группировки материала ученые вступали в область исторического построения, они сталкивались там именно с отсутствием всякой *положительности* метода. Причем это справедливо не только по отношению к компиляторам типа О. Каспари, но и к ученым куда более высокого уровня.

Выводы, к которым приходил в этой связи Ф.И. Буслаев, звучали достаточно однозначно: «*Каждая специальность имеет свои пределы, дальше которых идти не может, и только во взаимном пособии друг другу разные специальности могут привести к желанному решению таких вопросов о человеческой природе, для <...> которых необходимы научные пособия, как по естествознанию, так еще и более того по истории, лингвистике, археологии и т. п. (курсив мой. – Н.П.)*» (Там же: 703).

Подобная точка зрения являлась вполне характерной для русских археологов-гуманитариев не только буслаевского поколения, но и целого ряда последующих. В частности, в 1900–1910-х гг. совершенно аналогичную позицию сформулирует А.А. Спицын в своих

университетских лекциях и в статье, представляющей собой сводку материалов о русском палеолите (Спицын, 1915).

3.6. Разработка идеологии и методологической базы исследований первобытных древностей России: К.М. Бэр

Основоположником научного подхода к доисторическим древностям России стал академик **Карл Максимович (Карл-Эрнест) Бэр** (1792–1876) – основатель антропологического собрания музея ИАН, один из основателей РГО, председатель его этнографического отдела. Великий ученый-биолог, «отец эмбриологии», первым сформулировавший основные законы онтогенеза и учение о типах животного мира, К.М. Бэр уже на склоне лет с головой ушел в занятия географией. На счету его была целая серия крупных комплексных экспедиций в малоизученные регионы Российской империи. В ходе этих работ престарелым академиком в числе прочих открытий был сформулирован «закон Бэра», объясняющий асимметрию берегов рек, текущих меридионально.



К.М. Бэр (1792–1876)

Задачи географии в целом К.М. Бэр понимал широко. Вместе с А. Гумбольдтом и К. Риттером он считал, что «на лице земли написаны не только законы распространения организмов, но отчасти и судьбы народов» (Райков, 1950: 12–13, 15, 34). Как антрополог, он стал известен благодаря разработке новой системы краниологических измерений и классификации черепов. В 1850-х гг. из печати вышла книга К.М. Бэра «Человек в естественно-историческом отношении» (Бэр, 1851). Убежденный моногенист, человек гуманистических убеждений, ученый горячо отстаивал идею видового единства человечества и равенства всех рас. В 1850 – начале 1860-х гг. именно его научные идеи и конкретные разработанные им программы легли в основу таких предприятий ИАН и РГО, как исследование Л.И. Шренком амурских народностей и экспедиция Н.Н. Миклухо-Маклая на Новую Гвинею (Райков, 1950: 19).

Сдержанное отношение К.М. Бэра к дарвинизму – особенно в части, касающейся происхождения и эволюции человека – долго служило причиной неоднозначного отношения к

его трудам в области изучения человека. При этом характерно: в 1920-х гг. русские ученые как бы заново открыли их для себя, и оценка оказалась не просто высокой – панегирической. В 1928 г., в первом выпуске журнала «Человек» его ответственный редактор академик С.Ф. Ольденбург посвятил отдельную статью небольшой публикации К.М. Бэра, вышедшей из печати почти за 80 лет до того – «О влиянии внешней природы на социальные отношения отдельных народов и историю человечества» (Бэр, 1849).

«Большая часть из того, что сказано в этой статье, – писал С.Ф. Ольденбург, – для нас теперь общеизвестно и перестало требовать доказательств, и, тем не менее не бесполезно ее вновь перечитать многим представителям гуманитарных наук, которые, теоретически признавая необходимость постоянной увязки их работы с данными, получаемыми дисциплинами естествоведными, на практике <...> совершенно не считаются или считаются в самой незначительной мере с факторами окружающей человека природы <...>» (Ольденбург, 1928: 6).

Далее указывалось, что «и качественно, и количественно Бэром сделано чрезвычайно много для изучения человека, но главное значение его работы <...> лежит в том широком подходе к этому изучению, в котором Бэр умел объединить дисциплины гуманитарные с дисциплинами естествоведческими (курсив мой. – Н.П.)» (Там же: 9). «Чем объяснить, что это направление исследований не нашло себе настоящих продолжателей, и что, в общем, гуманитарии и естествоиспытатели идут все еще в своей работе отдельными путями?» – спрашивал С.Ф. Ольденбург. Может быть, причина этого несомненно отрицательного явления кроется в *несоответствии точности методов исследования*, доступных этим, столь разным, областям науки? Естествоиспытатели «не считают возможным удовлетвориться той приблизительностью, которая одна еще пока доступна гуманитариям <...> Во всяком случае, путь Бэра – единственно правильный, и по нему желает идти наш новый журнал <...>» (Там же).

Все сказанное не оставляет сомнений, что именно К.М. Бэр представлялся русским ученым 1920-х гг. основоположником того подхода к археолого-этнографическому исследованию России, который можно назвать *эколого-культурным*. Еще в 1849 г. основы данного подхода были сформулированы им в печати (Бэр, 1849). Между тем во второй половине XIX в. указанная статья, вызывавшая такое восхищение С.Ф. Ольденбурга, почти не упоминалась в археологической литературе. В значительной степени это было обусловлено остротой противостояния дарвинистов не-дарвинистам, которое нередко оборачивалось, фактически, противостоянием естествоведов гуманитариям. Отсутствие такого противостояния во времена К.М. Бэра (по крайней мере, на момент написания им его программной статьи 1849 г.), судя по приведенным отрывкам, воспринималось учеными 1920-х гг. с удивлением и легкой завистью.

Новая оценка наследия К.М. Бэра в 1920-х гг. стала возможной, потому что в указанный период – в результате новых открытий в области генетики – учение Ч. Дарвина о происхождении видов в результате естественного отбора перестало восприниматься как догма, безоговорочное признание которой обязательно для всякого прогрессивного человека. Некоторые представления классика эволюционной биологии были признаны устаревшими и в большой степени, скорректированы. В редакционном комитете журнала «Человек» участвовали представители многих естественных наук, в том числе акад. И.П. Павлов и один из виднейших русских генетиков проф. Ю.А. Филипченко. Несомненно, программная статья С.Ф. Ольденбурга, отражавшая фактически теоретическую платформу журнала («Путь Бэра единственно правильный...»), не могла быть принята к печати без их согласия.

Какие же высказывания К.М. Бэра вызывали яростный протест у естествоиспытателей-эволюционистов XIX в.? С его точки зрения, учение Дарвина не следовало бы отождествлять с «гипотезой трансмутации вообще». Это лишь попытка *объяснить* трансмута-

цию – тот род и способ, которым она происходит. Однако накопление мелких изменений, с точки зрения самого Бэра, не могло повести к образованию новых видов. Естественный отбор не в силах объяснить морфогенез (Там же: 148–149). Те изменения, которые реально могли быть прослежены на домашних животных, всегда совершались в рамках одного вида, а потому несущественны. Если же запрограммированный «образовательный процесс» эмбрионального развития почему-либо нарушается, то это ведет отнюдь не к образованию новых видов, а к остановке всего процесса или к образованию уродов (Бэр, 1865: 12). С высоты нашего времени приходится констатировать: в данных вопросах К.М. Бэр оказался куда более дальновиден, чем его «прогрессивные» современники, всецело захваченные идеями дарвинизма и спенсеризма.

В 1860-х гг. К.М. Бэр опубликовал серию статей о первобытном человеке и степени изученности данной проблемы в Европе. Эти публикации, по сути, положили начало исследованиям каменного века в России и, что немаловажно, – накоплению материалов по первобытной археологии в центральных музеях (Бэр, Шифнер, 1862; Бэр, 1863; 1864). Впоследствии ученик и последователь К.М. Бэра П.И. Лерх говорил на II Археологическом съезде: «Коллекция [Н.Ф.] Бутенева [неолитических орудий. – *Н.П.*] стала известною в Санкт-Петербурге в то время, когда в среде Академии наук и Российского Географического общества голос многоуважаемого К.М. Бэра требовал для подобного рода памятников быта древнейших обитателей нашего отечества места в наших музеях. Я имел удовольствие видеть, что при моем посредничестве упомянутая коллекция была приобретена Академией наук для ее Этнографического музея...» (Лерх, 1881: 10).

Отрицание принципа естественного отбора как ключа к пониманию процесса «очеловечивания» отнюдь не означало для К.М. Бэра отрицания идеи эволюции в человеческой культуре. Как и Ф.И. Буслаев, он высоко ценил многие достижения эволюционной этнологии 1840–1850-х гг., основанной на изучении современных «первобытных» народов. Впрочем, главным толчком в данном направлении стали для него не чужие, а собственные этнографические наблюдения, подкрепленные сопоставлением с новейшими, по тем временам, достижениями скандинавской археологической мысли. В связи с этим К.М. Бэр писал:

«...Знание весьма различных состояний образованности у отдельных народов, с которыми мы познакомились через наши обширные путешествия, <...> заставили предполагать, что весь род человеческий должен был испытать различные состояния, зависевшие от времени и от страны <...>.

Эти предположения впервые получили более прочное основание в весьма недавнее время, с тех пор, как стали собирать остатки, сохранившиеся от этого доисторического состояния и находящиеся на поверхности и в глубине земной, сравнивать эти остатки между собой и пользоваться ими, как документами. Правда, что эти познания очень несвязны, но в некоторых странах Европы уже ясно высказываются в этом отношении различные периоды <...>.

<...> Только по истечении первой трети нашего столетия, после того, как в Дании и Швеции <...> были собраны и изучены <...> памятники человеческого искусства дохристианских времен, Томсен в Копенгагене и Нильсен в Лунде почти одновременно указали, что, по крайней мере, в этих странах, прежде, чем было открыто железо, <...> орудия <...> приготавливались из смеси меди с оловом.

<...> Так как во многих могилах найдены только орудия из камня и кости и ни разу не встречено металлических орудий, но встречались предметы, которые впоследствии делались из бронзы, то названные ученые пришли к дальнейшему заключению, что было время, когда вообще не было известно употребление металлов <...> Таким образом, явилось разделение истории человеческого развития на периоды, которые и названы – каменным, бронзовым и железным веками <...>» (Бэр, 1864: 27–28).

Как видим, в рассуждениях Бэра постоянно увязываются между собой два фактора – эволюционно-временной и географический. Он готов допустить, что «весь род человеческий» прошел ряд общих ступеней развития, имевших, однако, большую специфику в разных странах в различные времена. Однако человека каменного века Бэр изначально воспринимал как полноценного *человека*, отказываясь видеть в нем «переходное звено» от животного состояния к культурному. Круг основных проблем, намечавшихся академиком в этой связи, ясно обрисованы им в статье «Записка о снаряжении археолого-этнографических экспедиций в пределах Российского государства», опубликованной на немецком языке в Бюллетене ИАН в том же 1864 г. (Т. VII, с. 288–295):

«<...> Откуда появилось искусство обрабатывать различные металлы? Как и откуда вывезены разнообразные породы хлебных растений и домашние животные? – вот задачи, пока еще не тронутые, или, по крайней мере, не решенные. Осторожные датчане и шведы приписывают эти успехи <...> не первым жителям своих стран, а позднейшим пришельцам. Филология и история доказали, что вышеназванные <...> элементы перенесены сюда из Азии; то же самое подтверждается и находками, добытыми в могилах. Но откуда именно и каким образом происходили эти переселения – это вопросы, которые можно будет разъяснить только тогда, когда и другие страны примутся за такие же усердные исследования остатков своей родной старины, как то сделал скандинавский север.

<...> Самое решение этих вопросов может быть найдено единственно в странах, лежащих между Азией и западною Европою – именно в России. <...> У нас со времен Карамзина ревностно занимаются тою частию отечественной истории, которая основывается на письменных памятниках; но колыбель нашей народной жизни, все то, что предшествовало письменности, представляет еще сырой неразработанный материал. Разрывались у нас курганы, писались об них всевозможные отчеты; но дело в том, что, во-первых, все эти отчеты не подведены под общие точки зрения, а, во-вторых, нет общего и достаточно обширного собрания всех родов найденных доисторических предметов. Такие предметы, если они не состоят из благородных металлов, часто даже не берегутся или, по крайней мере, не вносятся в общее собрание. У нас даже не решено, как называть те или другие предметы. Между тем, все те из иностранных ученых, которые серьезно интересуются исследованием древнейшей истории человеческого рода, ждут с нетерпением возможно полных известий из России, послужившей переходной станцією для древнейших образовательных начал.

Достаточно одного беглого взгляда на карту, чтобы убедиться, что этим переселениям из Азии в Европу оставалось на выбор только два пути: морской – через греческий архипелаг или Геллеспонт, или сухопутный – через широкую Русскую равнину. <...> У нас уже давно заметили, что в так называемых чудских копях или чудских могилах в Сибири сохранились металлические изделия значительной древности; связь их с введением металлического производства в западной Европе и самое время разработки этих копей можно будет определить только тогда, когда составятся полные и правильные собрания таких находок с достоверными и полными сведениями о месте нахождения <...>.

Если Россия не займётся изучением своей древнейшей старины, то она не исполнит своей задачи, как образованного государства. Дело это уже перестало быть народным: оно делается общечеловеческим. Но затронется и разовьётся интерес чисто национальный, если мы узнаем результаты всего того, что сделано на этом поприще другими народами, и если облегчится классификация и номенклатура древностей, находимых в нашем отечестве <...>» (русск. пер. П.И. Лерха, цит. по: РА ИИМК. Ф. 1. 1865. № 15, л. 4 об.–6).

Обосновав, таким образом, «научную потребность археологического исследования России», К.М. Бэр сформулировал план, по которому следовало организовать изучение «доисторических переселений и быта древних обитателей» на ее территории (Там же: л. 6). Для этого, по его мнению, было необходимо снарядить экспедиции в различных направ-

лениях на три года. От их руководителей требовалось «полное знакомство с результатами западноевропейских исследований о доисторическом быте человечества», а также с опубликованными сведениями о раскопанных в России памятниках. Первая экспедиция должна была обследовать курганы в пределах области распространения «чудских могил» и раскрыть некоторые из них – самые разнородные, – параллельно наводя справки об уже имевших место раскопках. Вместе с тем, по мнению К.М. Бэра, следовало бы провести поиск следов древних поселений или иных остатков деятельности человека «по краям озер».

После этих обследований Бэр планировал более специальные экспедиции: 1) в низменность на юге Урала; 2) к екатеринбургской впадине Уральского хребта; 3) в Крым через Тамань и в Понтийско-Каспийскую степь. По его мнению, эти три пути могли оказаться «главными вратами переселения». По всем указанным направлениям следовало, с его точки зрения, вскрывать курганы и известные «плоские могилы», а затем осуществить широкое сравнение всех сделанных находок. Исполнение своего плана он считал настоятельно необходимым с учетом того, что «в самых различных местностях России открываются курганы и другие могилы, о содержании и устройстве которых не доводится до всеобщего сведения» (Там же: л. 6 об.–7).

Как видим, идея о том, что «свет с Востока» шел в Западную Европу через Россию, оказалась впервые введена в отечественную науку именно К.М. Бэром. Данная гипотеза была подсказана всей логикой исследований того периода в области сравнительного языкознания. Указанное направление, в полном смысле слова, открывало новые горизонты для исследования первобытности. По выражению П.И. Лерха, «результаты, добытые с помощью лингвистики, превосходят все надежды самого пылкого воображения археологов до применения сравнительного метода к изучению языков <...>» (Лерх, 1863–1865, I: 150). Все археологи первой половины – середины XIX в., задававшиеся вопросами происхождения земледелия, металлургии и т. п. в Европе, так или иначе апеллировали к современным им разработкам мировой индоевропеистики. По представлениям тех лет, разделявшимся и К.М. Бэром, «филология и история» уже вполне доказали, что «вышеназванные <...> элементы перенесены сюда из Азии...» (Там же: л. 4 об.).

На этом фоне становится ясно, почему важнейшая роль в историческом процессе априорно отводилась многими учеными XIX в. – в том числе К.М. Бэром – миграциям и заимствованиям с востока. Во-первых, и то и другое представляло собой феномены, хорошо известные по письменным источникам. Во-вторых – что особенно важно, – факты древних переселений логично вытекали из исследований лингвистов, результаты которых не вызывали у ученых-историков и археологов никаких сомнений. Казалось, необходимо лишь детализировать их, уточнить, откуда, как и когда осуществлялись миграции. Развить указанную концепцию далее предстояло в России П.И. Лерху и А.С. Уварову.

Подход, намеченный Бэром, предполагал опору именно на данные лингвистики и намечал пути проверки исходной гипотезы с помощью раскопок. Полученные в ходе раскопок предметы должны были систематизироваться и использоваться в дальнейшем как *документы*, подлежащие, в свою очередь, сравнительному исследованию и музейному хранению. Характерно, что даже в сжатом, почти тезисном изложении К.М. Бэр находит место для постановки проблемы выработки «номенклатуры и классификации древностей». Эту последнюю, с его точки зрения, следовало осуществить на базе самого современного зарубежного опыта. Тут, безусловно, сказался подход строгого естествоиспытателя, хорошо понимающего, что без разработанной номенклатуры и классификации нет науки.

Сам порядок археологического обследования России явно виделся К.М. Бэру по образцу и подобию лингвистических экспедиций М.-А. Кастрена или его собственных комплексных географических экспедиций 1830–1850-х гг. Возможно, встань он сам во главе такого проекта, его авторитета хватило бы, чтобы настоять на осуществлении этих планов

хотя бы частичном – силами Академии наук. Несомненно, в таких экспедициях нашлось бы место и для углубленного изучения памятников в естественнонаучном отношении, в частности для постановки вопросов о природной, географической среде древности. Как уже говорилось выше, эти вопросы давно интересовали К.М. Бэра. Но в 1864 г. академику было уже за семьдесят. Сама же задача выглядела весьма не тривиально.

Прежние обследования дальних российских окраин, производившиеся ИАН и РГО, лишь по ходу дела дополнялись сведениями из области археологии и этнографии. Их главной целью был сбор естественнонаучных или лингвистических данных. И то и другое являлось в России прерогативой, в первую очередь, Академии наук. И для того и для другого там имелись хорошо подготовленные кадры исследователей. Теперь же ставилась совершенно иная, непривычная цель – специальное археологическое изучение целых регионов империи, включая обширные раскопки. Но кто должен был их осуществлять? И на чьи средства?

В ту пору, когда М.-А. Кастрен, К.М. Бэр, Л.И. Шренк и др. проводили свои комплексные экспедиции на Урал, в Прикаспий, на Амур и т. д., в России еще не существовало специального государственного учреждения, ведающего раскопками. Но в 1859 г. таковое, наконец, появилось в лице Императорской Археологической комиссии во главе с графом С.Г. Строгановым. Организация целенаправленных археологических обследований автоматически отошла в ее ведение. При этом ни бюджет комиссии, ни ее оснащенность кадрами исследователей на указанном этапе не шли ни в какое сравнение с возможностями ИАН. Но это была новая реальность, с которой пришлось считаться, в частности, сотрудникам Академии наук, находившимся в 1850 – начале 1860-х гг. в непосредственном контакте с К.М. Бэром и обратившимся, под его влиянием, к изучению первобытной археологии.

3.7. Изучение первобытности в контексте исследования национальных древностей России: роль русских немцев в этом процессе

Работы К.М. Бэра и его последователей (Л.Ф. Радлова и П.И. Лерха) никогда ранее не рассматривались как вехи становления русской «национальной археологии». Причина тому ясна: слишком «нерусскими» казались сами исследователи. В этом плане весьма характерным является позднейшее высказывание Д.Н. Анучина о том, что первые самостоятельные антропологические работы стали появляться в России лишь около 1850-х гг., *«да и те были обязаны сначала учёным немцам, преимущественно К.-Э. Бэру (курсив мой. – Н.П.)»* (Анучин, 1900: 35).

Действительно, вопрос о петербургских и остзейских немцах в России XIX в. стоял слишком остро, в том числе и в научном сообществе. В Академии наук имелись свои «немецкая» и «русская» партии. В 1880 г. Д.И. Менделеев оказался забаллотирован на выборах в Академию, в первую очередь, по причине своего «неудобного нрава» и активного участия в коммерческих предприятиях (чего тогда чуждалось большинство академиков). Однако газеты с возмущением писали о «тёмных силах, которые ревниво затворяют двери Академии перед русскими учёными» (Князев, 1931: 30).

Отзвук именно этой борьбы мы наблюдаем в археологической публикации А.А. Иностранцева, появившейся в «Вестнике Европы» в том же 1880 г. В вводной части там упомянута одна из важнейших археологических статей К.М. Бэра (Бэр, Шифнер, 1862).

Ссылка на нее не обошлась без неприятного замечания, что два академика-«иностранца» со стороны поучают русских, как надо любить отечественные древности⁶ (Иностранцев, 1880: 272–273). Пожалуй, лишь начиная с середины XX в. этим так называемым «иностранцам» стали отдавать должное и историки естествознания (Райков, 1950; 1951), и историки археологии (Формозов, 1983: 17–20, 36–40; Тихонов, 2003: 34–37).

Между тем ни сам К.М. Бэр, ни его ученики не были у нас заезжими иностранцами. Они являлись уроженцами и подданными Российской империи. Сам К.М. Бэр с детства считал своим отечеством Россию, а не только поместье отца в Эстляндии. В 1812 г., будучи студентом, он пошел добровольцем на войну с Наполеоном: «надо было постоять за родину» (Бэр, 1950: 154). В 1819 г., перед началом стажировки за границей, молодой человек специально едет в Санкт-Петербург, чтобы, по собственным словам, «хоть немного познакомиться со столицей своей родины» (Там же: 249). Проработав около 20 лет в Кёнигсберге (в российских университетах для него кафедры не нашлось), он не отказался от российского подданства и в дальнейшем приложил немало усилий, чтобы вернуться в Россию, – что и исполнил.

Позднее академик воспринимал как личное оскорбление любые презрительные выпады в адрес русского народа. Так, в частности, случилось в 1839 г., когда в английском журнале «Atheneum» появилась заметка о научных экспедициях в России. В ней утверждалось, что «варварство простонародья» якобы «губит <...> при организации путешествий благие намерения правительства» (цит. по: Райков, 1950: 28). На это К.М. Бэр счёл нужным

⁶ Несомненно, К.М. Бэру пришлось пережить немало тяжёлых минут в связи со своей «национальной принадлежностью». Чего стоит один пассаж в его заметках: «<...> Немцам, живущим по эту сторону Наровы, говорят: “Зачем вам глядеть на Запад, вы вовсе не немцы, так как Петр Великий завоевал вас!” С Востока же мы слышим: “Держитесь от нас подальше, не нарушайте наш патриархальный покой, Бирон достаточно нам насолил!” Напрасно искать логическую формулу, в которой можно было бы объединить и герцога Бирона, временщика первой половины XVIII века, и обычного немца нашего времени, который, ища пропитания, странствует, занимаясь наукой. <...> Как угодить этим людям? Что делать? Уйти обратно за Неман? Или уйти в Царствие небесное? Это было б, пожалуй, лучше всего <...>» (Бэр, 1950: 407).

немедленно ответить: «<...> Мы никогда не слышали ни об одной экспедиции, где бы намерения правительства были погублены варварством простонародья. Наоборот, простые русские люди почти всегда пролагали пути научным изысканиям. Вся Сибирь с её берегами открыта таким образом. Правительство всегда лишь присваивало себе то, что народ открывал <...>» (Там же).

В 1840 г. граф Кейзерлинг, духовный вождь остзейского дворянства в России, с неудовольствием заявил в немецкой печати, что посещение академика Бэра произвело на него, Кейзерлинга, очень тяжёлое впечатление. Бэр-де стал «хорошим русским патриотом» (Там же: 29)⁷. С последним утверждением следует согласиться. В разработанном академиком плане археологического исследования России (см. выше) специально подчеркивался национальный аспект этих исследований.

Как уже говорилось выше, в ряде стран Европы начало разработки отечественных памятников, именно как *национальных древностей*, началось несколькими десятилетиями раньше, чем в России. В результате к середине XIX в. эти страны заметно продвинулись вперед в деле постановки исследований и развития археологии как науки. В уже цитированной речи А.С. Уварова при открытии МАО (1864 г.) звучали, в частности, и такие слова: «<...> Мы видели, что и в самой Европе Археология так еще недавно получила права гражданственности между науками, что упрекать русскую науку в отсталости было бы слишком строго и несправедливо. Русская Археология, действительно, не сложилась еще в стройную, правильную науку <...>, но должно сознаться, что это происходит не от недостатка материалов, <...> а от какого-то векового равнодушия к отечественным древностям <...> Мы видели, как чувство народности быстро подвинуло западную Археологию и как сильно оно возбудило деятельность ученых Обществ; пусть то же чувство поможет теперь и нам уничтожить равнодушие к отечественным древностям и научит нас дорожить родными памятниками <...>» (Уваров, 1910: 127–128).

Было бы несправедливо умолчать о том, что годом раньше ситуацию в европейской и отечественной археологии первой половины XIX в. совершенно сходным образом охарактеризовал в печати последователь К.М. Бэра, петербургский ориенталист и археолог-первобытник П.И. Лерх. Как и его учитель, он явно заслуживал звания «хорошего русского патриота». По его мнению, подъём национального самосознания повсеместно способствовал развитию интереса к отечественным древностям в Европе. К тому же следует стремиться нам – в «нашем обширном отечестве»:

«<...> Наше доисторическое прошедшее дорого нам, как зародыш нынешнего нашего существования и всей нашей будущности. Народ, уважающий себя и свою самостоятельность, не останавливается на созерцании одного настоящего, с любовью обращает взоры и к отдалённому периоду своего начала, старается определить степень своего родства с другими народами; узнать время и условия занятия той страны, в которой он основал себе отчизну; одним словом, желает узнать: каким образом он стал тем, чем есть теперь.

<...> Кто посещал за границу собрания <...> отечественных древностей в Германии, Швейцарии, Италии, Франции, Англии, Ирландии, Швеции и Дании, и познакомился при этом с исследованиями тамошних археологов, тот знает, с какой ревностью и успехом в упомянутых странах, кроме так называемых классических древностей, собирают и изучают еще и древности народные, относящиеся частью к периодам, о которых, по отсутствию в них письменности, мы принуждены почерпать сведения из скрывающихся в земле следов человеческого быта.

⁷ Сам по себе этот эпизод весьма показателен. Он заставляет понять, что противостояние «немецкой» и «русской» партий, в том числе в научных кругах (а граф Кейзерлинг был известным учёным-геологом), в указанный период вовсе не являлось выдумкой «квасных патриотов». Презрение к России и русским, культивировавшееся в кругах остзейского дворянства, было печальной реальностью. Однако ни К.М. Бэр, ни его ученики-археологи не имели к этому никакого отношения.

У нас также начинают сознавать необходимость мер к сохранению и разведке древностей, встречающихся в нашем обширном отечестве. <...> Но они останутся недостаточными для успехов археологии, <...> коль скоро в образованной части народа интересы науки археологической не будут встречать живого сочувствия <...>» (Лерх, 1863–1865, I: 146–147).

Из высказываний П.И. Лерха с несомненностью следует, что внимание к «народным древностям», стремление по ним познать свое далекое прошлое, служило для него не только показателем общего уровня культуры в стране, но и важнейшей предпосылкой дальнейшего развития «научной» археологии. Характерно, что, по крайней мере, в 1863 г. П.И. Лерх, как и А.С. Уваров, не видел особенных различий в подходах учёных различных европейских стран к собственным национальным древностям. Необходимо отметить и другое: в своих конкретных разработках учёный весьма взвешенно подходил к проблеме генетического родства тех или иных «доисторических» племен с конкретными современными народами. И уж тем более П.И. Лерх не ставил этническую принадлежность во главу угла при определении исторической ценности памятников. Не случайно выступление его на II Археологическом съезде (1871 г.) заканчивалось словами о том, что в России все «этнографические выводы относительно принадлежности каменных орудий» являются преждевременными: «Различные народы, при одинаковых условиях жизни, могут дать орудия одной формы<...> Нет оснований заключать, что они принадлежат одному народу...» (Лерх, 1881: 14).

3.8. Заключение

Подводя итоги, хочется подчеркнуть следующее: такое явление, как возникновение и развитие отечественной научной археологии, необходимо рассматривать в рамках всего комплекса научного и культурного строительства, происходившего в рассматриваемый период. Отход от антикварианизма и начало разработки отечественных памятников – именно как *национальных древностей*, памятников родной истории – составляли самую суть процесса становления археологии как науки. В первой трети XIX в. этот процесс пошел в Европе повсеместно. В России 1850–1880-х гг. главным вектором развития национальной археологии стало постепенное изживание того, что Н.П. Кондаков называл впоследствии «внушениями узкого патриотизма» (Толстой, Кондаков, 1889: I–II). Говоря современным языком, изживалась национальная ограниченность исследований. Вначале влияние ультрапатриотических тенденций ощущалось довольно отчетливо. Однако по мере укрепления позиций русской археологической науки в контексте европейских исследований, в ней все более доминировала так называемая «позиция спокойного историка», сформулированная в конце XIX в. акад. С.Ф. Платоновым (см. напр.: Платонов, 1917: 440).

Говоря о «преддверии» развития научной археологии в России, необходимо особо отметить деятельность К.М. Бэра. След, оставленный им в отечественной археологии, относится, в первую очередь, к области *идеологии археологической науки*. Именно Бэром впервые в России была сформулирована проблема влияния географической среды на культуру, причем перспективы ее исследования напрямую поставлены в связь с дальнейшими работами в области археологии и этнографии. Им же впервые была широко поставлена проблема изучения древнейшей истории обитателей России на базе изучения «древностей», понимаемых как исторические «документы». Важный вклад был сделан К.М. Бэром и в *музейную археологию*. Именно он в начале 1860-х гг. создал первый прецедент – приобретения музеем ИАН коллекции каменных орудий.

В целом, становление русской национальной археологии обернулось резким расширением диапазона исследований. Внимание привлекли принципиально новые категории памятников и контексты их находок. Если в России 1840-х гг. разработка национальных древностей строилась ещё на принципах антикварианизма, то уже 15–20 лет спустя ситуация заметно изменилась. Свидетельством тому стали теоретические дискуссии на I, II, и в особенности III Археологических съездах.

Глава 4

Археология как наука гуманитарного цикла в России (вторая половина XIX – первая треть XX в.)

4.1. Гуманитарная исследовательская платформа в русской археологической науке

Гуманитарную исследовательскую платформу (=подход к древностям) мы наблюдаем уже на заре развития научной археологии в Западной Европе и России (первая половина XIX в.). В целом, на базе гуманитарной платформы в русской археологии 1850–1870-х гг. постепенно определилось два основных направления: а) историко-культурное, которое, в силу особенностей русской терминологии XIX в., чаще называется в литературе «историко-бытовым» или «бытописательским»; б) художественно-историческое, продолжавшее традиции «винкельмановского». Водораздел между ними проходил, в первую очередь, по характеру исследуемого материала, однако различия в методологическом плане также были ощутимы. Отдельного рассмотрения заслуживает так называемый «скандинавский подход», представлявший собой, в сущности, третье самостоятельное направление, сформировавшееся в русской археологии в третьей четверти XIX в. и оказавшее значительное влияние как на исследователей, работавших в рамках «историко-бытовой школы» (см. ниже), так и на многих археологов-естествоведов.

Формирование гуманитарного подхода в археологии произошло на базе предшествующих работ европейских антиквариев XVIII – первой трети XIX в. На тот момент он подразумевал изучение «древностей» – не только «вещественных», но изобразительных, палеографических, фольклорных и т. п. «Древности» анализировались: а) как продукты *творчества человека*; б) как остатки *«реальной» истории народов* (выражаясь современным языком – истории в вещественных памятниках или истории культуры). Главной опорой, базой научного анализа служили методы, разработанные в науках гуманитарного цикла – сравнительном языкознании, филологии и истории. Хронология памятников устанавливалась на основе данных, почерпнутых из письменных, нумизматических, сфрагистических и иных источников.

В середине – третьей четверти XIX в. российская историческая наука, включая гуманитарную археологию, испытала на себе сильнейшее влияние позитивизма. В нее проникают представления о тесной взаимосвязи различных сторон бытия, поиске законов и закономерностей развития как физического, так и духовного мира. Не следует забывать, что классики позитивизма (О. Конт и его школа) включали в число «позитивных», «положительных» наук не только различные области естествознания, но и историю (подробнее см.: 5.2.2–5.2.3). Отсюда проистекало ставшее весьма популярным в середине XIX в. Представление о принципиальном единстве исследовательских задач естествоведа и историка, познающих и формулирующих некие *основные законы бытия*. Именно тогда начались уподобления народа и общества «биологическому организму». Отголоски этих представлений мы встречаем у очень многих русских историков, начиная с Т.Н. Грановского (Бузескул, 2010: 70–164).

Можно констатировать, что середина и вся третья четверть XIX в. в русской археологии представляли собой период теснейшего сотрудничества ученых-гуманитариев и естествоиспытателей, причем идейные и мировоззренческие предпосылки, с которыми те и другие подходили к изучению древностей, зачастую оказывались достаточно близки. Резкое разде-

ление научных платформ – гуманитарной и естественноведческой, – рельефно проявившееся в западноевропейской археологии уже в 1860-х гг., в России началось не ранее последней четверти – конца XIX в.

Изучение первобытных эпох, особенно неолита и бронзы, было успешно начато в целом ряде европейских стран уже в 1830–1840-х гг. Эти исследования зачастую представляли собой результат совокупного труда ученых самого различного профиля. В указанный период естествоведы, наряду с историками, стали широко принимать участие в раскопках археологических памятников в Северной и Средней Европе. Именно тогда было положено начало широкому использованию данных геологии, палеозоологии, химии и других естественных наук при анализе материалов из раскопок в Скандинавии (в ходе изучения кьёккен-мёддингов), а позднее в Швейцарии (после открытия свайных поселений) (Лерх, 1863–1865; Trigger, 1989). Впервые было обращено серьезное внимание на петрографический состав изделий из камня, на химический состав древних бронз. Проводились первые сопоставления результатов с геологическими картами, с материалами рудных месторождений и т. д. (Лерх, 1868; 1868а). Отдельному изучению стал подвергаться остеологический и антропологический материал из раскопок. Однако в глазах самих учёных подобная практика диктовалась конкретными нуждами *исторического исследования* и отнюдь не переводила его в ранг естественных наук.

В основе данного подхода к археологическим памятникам, названного «скандинавским», безусловно, лежали представления об эволюции культуры во времени. Именно тогда в науку оказалась введена важнейшая интерпретационная схема (или модель), основанная на идее эволюции и получившая название «системы трёх веков» – каменного, бронзового и железного. Это не была разработанная теория эволюции, которую мы встречаем далее в трудах Г. Спенсера или Ч. Дарвина. Основой «системы трёх веков» стали самые общие представления о прогрессе, унаследованные учёными XIX в. от эпохи Просвещения или почерпнутые ими непосредственно из античного наследия (Лукреций Кар). Однако построенный на них научный подход оказался для своего времени весьма плодотворным.

Отмечая опережающее развитие археологии в Скандинавии и Швейцарии 1830–1850-х гг., Б. Триггер указывает, что здесь она совершенно органично увязывалась с восприятием памятников археологии как *национальных древностей*, способных пролить свет на древнейшие этапы истории родного народа. В англоязычной литературе такая мировоззренческая платформа определяется словом «*nationalism*» (Trigger, 1989: 83–85).

Необходимо учитывать: представители «скандинавского подхода» никогда не ставили перед собой проблему древности человечества и соответствия археологических данных библейской хронологии. Отчасти это объясняется общей неразработанностью проблемы археологического датирования в указанный период, но в не меньшей степени тем, что памятников палеолитической эпохи на Севере Европы попросту нет. А материалы эпох неолита и бронзы вполне «вписывались» в библейскую хронологическую схему, не демонстрируя особых противоречий с ней.

В конечном счете, именно в рамках «скандинавского подхода» (= школы) в Европе второй четверти XIX в. происходит теоретическое осмысление археологии как науки, для которой равно важны *все остатки* древних культур, а не только произведения древних искусств и художеств. Важным стимулирующим фактором развития археологии явилась целая серия открытий, давших яркие находки эпохи бронзы и раннего железа, которые заинтересовали в том числе и широкую публику. Первыми по времени стали раскопки погребальных памятников и «кухонных куч» в Дании (Й. Ворсё, конец 1830–1850-е гг.), чуть позже – раскопки эталонного Гальштатского могильника в Верхней Австрии (1846–1863 гг.), комплексное изучение свайных поселений Швейцарии (с 1854 г.) и т. д. (Каменецкий, 2007).

Комплекс идей «скандинавской школы» проник в русскую археологическую науку в 1840–1860-х гг. благодаря трудам акад. К.М. Бэра, пристально следившего за разработками скандинавских и швейцарских археологов. Однако наиболее полное воплощение эти идеи нашли в работах его младшего современника – петербургского ориенталиста и археолога П.И. Лерха, разрабатывавшего, в числе прочих, проблемы североевропейского неолита и бронзового века.

4.2. «Скандинавский подход» в русской археологии 1860–1870-х гг.: Л.Ф. Радлов, П.И. Лерх

В орбите К.М. Бэра в начале 1860-х гг. находилось двое вполне зрелых исследователей, каждый из которых соединял в себе профессионального филолога-лингвиста, этнографа и археолога. Первым из них был хранитель Этнографического музея ИАН **Леопольд Фёдорович Радлов** (1819–1865) – специалист по целому ряду языков Северо-Восточной Азии и Русской Америки. В целях систематического распределения экспонатов Радлов подробно изучил литературу по географии и этнографии Северной и Восточной России, опубликовал работы о языках кинаев, угалахмутов, кайчанов, чукчей, коряков, колюшей. Неизданными остались, собранные им материалы о языках Северо-Западной Америки (в том числе тлинкитскому). В музее (с 1848 г.), Леопольд Федорович проводил систематизацию разнообразных этнографических коллекций, знакомился с описаниями русских ученых путешествий и начал (с 1850-х гг.) сравнительное изучение коллекций «доисторических древностей» Швеции, Дании, Германии и Швейцарии. Вероятно, все это было напрямую связано с планами К.М. Бэра сделать этнографический и антропологический музей ИАН еще и археологическим и обосновать необходимость приобретения им коллекций каменных, костяных, бронзовых и иных орудий первобытной эпохи. «Для ближайшего ознакомления» с такими музейными собраниями Л.Ф. Радлов непосредственно посетил Стокгольм, Лунд – Копенгаген, Шверин – Швейцарию и пр. (Лерх, 1866: 205–206).

Знание не только немецкого и английского, но датского и шведского языков позволили ему детально разобраться в литературе по указанному разделу археологии. Л.Ф. Радлов перевел на русский язык «Северные древности» Й. Ворсё, вскоре опубликованные ИАН, а также целый ряд статей других скандинавских исследователей, которые еще при жизни предоставил в распоряжение своего младшего коллеги П.И. Лерха. К сожалению, ранняя смерть (Радлов умер 46 лет) помешала ему довести до конца собственные разработки на базе освоенного археологического материала. Эти данные были в полной мере обобщены **Петром Ивановичем Лерхом** (1828–1884), который соединил музейные штудии с полевыми работами и классификацией уже отечественных материалов.



П.И. Лерх (1828–1884)

П.И. Лерха коллеги называли «скромнейшим из русских ученых», который «по богатству сведений своих и обширной эрудиции мог бы с честью занимать кафедру в университете» (Тизенгаузен, Веселовский, 1884: 57). Но стесненное материальное положение и, видимо, полное отсутствие честолюбия привели к тому, что всю жизнь он довольствовался положением мелкого чиновника-канцеляриста, вынужденного служить сразу в нескольких местах для заработка. Но к этому скромному титулярному советнику, случалось, обращались за консультациями университетские профессора (Тихонов, 2003: 36–37).

Написать и защитить диссертацию П.И. Лерх так и не собрался. В разное время он служил протоколистом в Академии наук, помощником библиотекаря и библиотекарем в Санкт-Петербургском университете, а также секретарем-делопроизводителем в Императорской Археологической комиссии. В 1861 г. он еще параллельно исполнял обязанности библиотекаря, а с 1862 г. – секретаря Отделения западной и классической археологии РАО. Нако-

нец, в 1877 г. с ним случился «удар» (инсульт) – видимо, на почве крайнего переутомления и семейных неурядиц. После этого он прожил еще несколько лет, но для науки оказался потерян окончательно. Скончался ученый 4 сентября 1884 г. в Германии, куда был послан лечиться.

П.И. Лерх окончил Санкт-Петербургский университет в 1850 г. – кандидатом по разряду восточной словесности (РА ИИМК, Ф. 1. 1873. № 10: л. 8 об.). По основной специальности он был востоковедом-курдологом, а заодно – блестящим знатоком восточной нумизматики. Интенсивная деятельность его в области первобытной археологии началась в 1860-х. Как и Л.Ф. Радлов, П.И. Лерх был очень образованным лингвистом, переводчиком и публикатором первого русского издания книги А. Шлейхера «Краткий очерк доисторической жизни северо-восточного отдела индо-германских языков» (1865–1866). Но одновременно его по праву считают первым в России археологом-первобытником европейского уровня (Формозов, 1983: 39; Тихонов, 2003: 34–37).

В 1863 г. П.И. Лерх начал публиковать в «Известиях» РАО свой обширный очерк первобытной археологии Европы (Лерх, 1863–1865, I–III). По объему это скорее не статья, а небольшая книжка. В ней кратко, но со знанием дела излагались основы «доисторической» археологии и перечислялись важнейшие открытия в области неолита и бронзы Северной и Западной Европы. Ее нельзя назвать компиляцией – из-под пера П.И. Лерха вышел не пересказ, а аналитический обзор, сопровождавшийся вдобавок подробным описанием категорий находок эпохи неолита и бронзы. Как вдумчивый учёный, автор критически сопоставил взгляды Й. Ворсё, Г.Ф. Лиша, Дж. Лёббока, Ф. Келлера и др. на проблемы происхождения бронзового века в Европе, взаимоотношения разных «стилей», связей северных европейцев с Ближним Востоком и Югом и т. д.

Подчеркнутое внимание было уделено автором открытиям скандинавских и швейцарских археологов 1840–1850-х гг. Его собственные представления об археологии явно сформировались под влиянием «скандинавского подхода», что неудивительно, если учесть, что исследования ученых «скандинавского севера» считали образцовыми К.М. Бэр и Л.Ф. Радлов. При этом П.И. Лерх подчеркивал преемственность своих взглядов на археологию с воззрениями К.М. Бэра. В его статьях часто встречаются уважительные ссылки на мнения последнего. Но особенно рельефно эта преемственность выступает в неопубликованной работе П.И. Лерха «Соображения об археологической поездке в северо-восточные губернии», представленной им в ИАК в качестве обоснования запланированных полевых исследований 1865 г. (РА ИИМК. Ф. 1. 1865. № 15, л. 1а–14).

Данный очерк представляет немалый интерес. Он не только содержит изложение научных позиций самого П.И. Лерха вкупе с характеристикой плана археологического обследования Российской империи, предложенного К.М. Бэром (см.: 3.6). Он бросает свет на взаимоотношения П.И. Лерха с ИАК и на политику самой комиссии в отношении исследования первобытных древностей России в 1860-х гг.

П.И. Лерх очерчивает в своей записке проблему изучения финских народностей в историко-археологическом плане. Отметив, что «языки финские, благодаря трудам Шегрена, Кастрена, Видемана, Савваитова, Рогова, Альквиста и других, изучены в научном отношении», он указывает, что история этих племен «разъяснена» лишь для периода, когда она оказалась тесно связана с историей Российского государства. Древнейшая их история совершенно не изучена (Там же: л. 1а об.). «Были ли финские племена самые древние обитатели европейского севера и на какой степени развития они находились до сближения с германскими и славянскими племенами?» – задает вопрос автор. Для ответа на него он предлагает начать исследование «рассеянных по северу европейской России, равно, как и за Уралом до Даурии памятников древности, в особенности <...> могил и городищ <...>». Необходимо

«получить ясное понятие об образе их сооружения и о сохранившихся в них остатках человека и его древнего быта <...>» (Там же: л. 2–3).

«В нашей историко-археологической литературе часто была речь об этнографическом тождестве Чуди и Скифов. – пишет далее П.И. Лерх. – Рассмотрение этого вопроса останется преждевременным, пока не будет систематическим образом исполнено обозрение европейской России и западной Сибири в археологическом отношении <...>» (Там же: л. 4). Подробно обрисовав в связи с этой задачей предложения К.М. Бэра, опубликованные за год до того, автор излагает свою собственную точку зрения:

«<...> Нельзя не сочувствовать мысли знаменитого ученого. Но нам кажется, что трехгодичный срок для археологических экспедиций, как их понимает Бэр, может только тогда оказаться достаточным, если в этих экспедициях будет одновременно участвовать значительное число ученых и художников. Кроме того, не следует забыть, что часть начертанной Бэром программы уже исполняется <...> Археологическою Комиссиею и что со временем ею и будет, как можно надеяться, исполнена вся программа.

Имея честь изъяснить Императорской Археологической Комиссии готовность свою посвятить предстоящее лето объезду губерний Олонецкой, Вологодской и Вятской, для обозрения сохранившихся в Олонецком крае, далее около Белоозера, по рекам Ваге, Сыsole, Яренге, Вычегде, Вятке и в низовьях Камы могил и городищ, приписываемых Чуди, считаю себя обязанным представить указания на те местности, в которых мне известны могилы и городища <...>» (Там же: л. 7–7 об.).

Подробная записка П.И. Лерха с планом исследования северных губерний была встречена в ИАК очень благожелательно. В конце мая 1865 г. он получил ответ:

«Вполне разделяя изложенные Вами в особой записке соображения о важности исследований доисторических древностей северо-восточной России, Археологическая Комиссия с искренней благодарностью принимает <...> изъясненную Вами готовность заняться в течение предстоящего лета осмотром и разведкою т. н. Чудских могил и городищ <...> Выбор местностей для Ваших исследований Комиссия предоставляет Вашему собственному усмотрению. На производство раскопок и приобретение древностей Вам будет отпущено авансом 597 рублей, о которых Комиссия Вас просит доставить отчет по окончании командировки. На путевые издержки Вы получите 550 рублей. Сверх того, Вам будет выдана казенная подорожная и Открытый лист. О допущении вас к раскопкам на казенных <...> землях в означенных губерниях сделано сношение с Канцелярией Министерства Государственных имуществ, Удельным департаментом и Горным ведомством. Вместе с тем, Комиссия отнеслась к начальникам всех трех губерний с просьбою об оказании Вам, в случае надобности, содействия в успешном исполнении возложенного на Вас поручения. На частных землях Комиссия просит Вас производить раскопки не иначе, как с предварительного письменного согласия владельцев <...> Подписал за Председателя Императорской Археологической Комиссии Старший член И.Е. Забелин <...>» (Там же: л. 23–23 об, 24). В результате, 31 мая 1865 г. П.И. Лерх получил в ИАК 1147 рублей на свои летние работы.

Означенная сумма представляла собой в 1865 г. целое состояние. Основываясь на реалиях, описанных в русской литературе XIX в. (Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский и т. д.), можно сказать: она в разы превышала годовое жалованье мелкого чиновника Российской империи. Хотя указанная выплата П.И. Лерху была произведена в отсутствие графа С.Г. Строганова, маловероятно, что столь ответственное решение могли принять без его предварительной санкции. Вероятно, причин для такого решения было две. Во-первых, произведенные к тому времени В.В. Радловым (под эгидой ИАК) раскопки сибирских курганов (1862–1863 гг.) уже показали, что «чудские могилы» могут оказаться весьма богаты. Во-вторых, научное обоснование предстоящих экспедиционных работ, произведенное П.И. Лерхом на редкость исчерпывающе, вызывало уважение у всех, кто с ним сталкивался.

П.И. Лерх добросовестно выполнил свои обязательства. Он побывал в Соловках, Койхевице, на Выгозере, объехал Заонежье (Кижскую и Шунгскую волости), собрал там коллекцию каменных орудий и убедился на месте в неосновательности слухов о наличии там свайных поселений. Затем через Вытегру и Каргополь отправился в Вятку, произвел раскопки Подчуршинского городища при впадении р. Тоймы в Каму и остатков Ананьинского могильника в окрестностях Елабуги. Главным предварительным выводом его стало то, что все обследованные регионы «имели свой каменный век», причем, вероятно, «от употребления камня перешли прямо к обработке железа» (Лерх, 1865: 197). Собранные материалы по археологии неолита Русского Севера и Северо-Востока П.И. Лерх постарался, по мере возможности, включить в общий контекст европейского каменного века (Лерх, 1881).

К сожалению, отсутствие ярких, впечатляющих находок, видимо, сказалось на дальнейших планах ИАК в отношении работ на Русском Севере. Начатые П.И. Лерхом исследования продолжения не имели. Впрочем, комиссия охотно сотрудничала с ним и потом, давая ему иные поручения. Результатом стала его книжка об археологической поездке в Туркестан, с описанием раскопок Джонкента и обследования низовьев р. Сыр-Дарьи (Лерх, 1870).

Работа П.И. Лерха, представленная им в качестве доклада на II Археологическом съезде, представляла собой первую попытку научной классификации и одновременно – функционального истолкования восточноевропейских неолитических находок. Автор выделил группу охотничьих и боевых орудий, а также тех, что употреблялись, по его мнению, для обработки дерева. Кроме того, он продемонстрировал участникам съезда найденный им на Подчуршинском городище обломок изогнутого костяного орудия с вкладышами и интерпретировал этот предмет как «скорняжный инструмент» – в контексте собранных этнографических аналогий и находок из зарубежных музеев. Точно так же, на этнографическом материале, им был описан порядок крепления каменных топоров к рукоятям. Отдельно П.И. Лерх охарактеризовал материал, из которого изготавливались орудия, подчеркнув одновременность бытования кремневых оббитых и сланцевых шлифованных предметов (Лерх, 1881).

Труды П.И. Лерха помогают ясно понять следующее: гуманитарный подход в археологии середины XIX в. отнюдь не предполагал пренебрежения к данным естествознания. Его особенностями скорее надо считать ясное осознание «исторического характера» археологии и предпочтение ретроспективного пути от известного (то есть более позднего, этнографически и лингвистически исследованного) к неизвестному – более древнему, представленному лишь «вещественными памятниками». Этот путь предполагал опору, в первую очередь, на данные лингвистики. Основными понятиями в ходе исследования выступали «народ», «племя» и т. д. – этнографические единицы, историю которых предполагалось проследить от современности в глубь веков. В ходе анализа собственно археологических памятников («доисторических древностей») очень большое внимание отводилось комплексу методов естественных наук как вспомогательному средству исторического исследования.

П.И. Лерх прекрасно понимал важность приложения к археологическому материалу указанных методов. Вполне в русле «скандинавского подхода», уделявшего много внимания этой стороне исследований, он писал: «Современная археология, перешагнув пределы исторических эпох, знакомых нам по памятникам письменности, нуждается более прежнего в содействии различных других отраслей знаний, преимущественно, этнографии, языковедения, геологии, палеонтологии, химии, даже биологических наук. Но содействие это, по нашему взгляду, должно быть совокупное...» (Лерх, 1868а. III: 180).

В этой связи стоит указать, что П.И. Лерхом предлагалось провести химические анализы древних бронз и рудных месторождений нижнего Поволжья – с целью проверки предположений о том, что разработка древних копей «относится ко временам более ранним, нежели время хазарское»: «<...> Для археологии не лишено бы было интереса сделать химические анализы медных вещей, именно наконечников ножей и стрел, находимых в древних

могилах Екатеринбургской губернии и сравнить результат этих анализов с данными, полученными при анализе бахмутских руд <...>» (Лерх, 1868: 105–106).

Материалы, полученные П.И. Лерхом в ходе разведок и раскопок, осмыслялись им в эволюционистском ключе. В частности, ученый подчеркивал вероятность параллельного, независимого развития сходных форм каменных орудий на разных территориях и указывал на «преждевременность этнографических выводов» об их принадлежности одному народу. Вместе с тем идея эволюции в культуре вполне уживалась у него с другой, априорно отводившей важную роль в историческом процессе миграциям и заимствованиям.

Можно предполагать, что за освоением П.И. Лерхом широкого круга музейных коллекций, полевыми работами и систематизацией их результатов должен был последовать серийный анализ отдельных категорий вещей. Однако ученый не успел осуществить его. С его болезнью и смертью в русской археологии оборвалось непосредственное развитие «бэровской традиции», характеризуемой: а) органичным сочетанием гуманитарных и естественных методов в рамках историко-археологического исследования; б) профессиональной увязкой полученных данных с данными сравнительной лингвистики. Правда, основные принципы указанного подхода были восприняты современником П.И. Лерха графом А.С. Уваровым и неуклонно проводились в его трудах по первобытной археологии. Но оба они – русский аристократ и скромный канцелярист – были учеными одного поколения, и первый лишь ненадолго пережил второго.

4.3. Историко-бытовая школа в археологии: 1850–1880-е

4.3.1. «Бытописание» или история культуры?

Историко-бытовое направление, изначально возникшее в рамках гуманитарного подхода, достаточно часто отождествлялось в отечественной историографии с собственно «национальной» археологией, занятой изучением русского человека, его культуры и т. д. В основе такого мнения лежало то, что А.С. Уваров определил «русскую археологию», как «науку, занимающуюся исследованием древнего русского быта по памятникам, оставшимся от народов, из которых сперва сложилась Русь, а потом Русское государство» (Уваров, 1878: 32). В 1870–1880-х гг. указанное направление стало в России доминирующим. Его главными теоретиками принято считать двух видных учёных – А.С. Уварова и И.Е. Забелина. Их обобщающие труды действительно определили содержание целого этапа развития русской археологической науки – этапа, который в современной научной литературе, как правило, именуют «уваровским».

Г.С. Лебедев отождествлял данное направление исследований с особой «бытописательской парадигмой» археологии. Со своей стороны, рискну утверждать: «*бытописательской* парадигмы» в русской археологии не было. Была установка, провозглашённая А.С. Уваровым на III Археологическом съезде в Киеве, – изучение *истории культуры* на базе междисциплинарного исследования «всех памятников, какого бы то ни было рода, оставшихся от древней жизни» (Протоколы... 1878: XIX).

Следует оговорить особо: эквивалентом современного понятия «история культуры» в русском языке середины XIX в. являлась именно «история быта». Устарелый ныне термин «древний быт» был чрезвычайно распространен в исторической и археологической литературе 1860–1880-х гг. В дальнейшем он претерпел заметную смысловую эволюцию, в силу которой современный термин «бытописание» приобрел совершенно иной оттенок. Ныне в нём видится особый, не столько научный, сколько литературно-краеведческий подход, наподобие того, что характерен для творчества В.А. Гиляровского (1967), М.И. Пыляева (2004) и др. Указанный подход подразумевает описательность, яркую образность, повышенное внимание к бытовым мелочам, подчёркивание характерных, но гротескных деталей («чудаки-оригиналы») и т. п. Ничего общего с установками русской археологии времён графа Уварова он не имеет. Поэтому и применять к ней определение «бытописательская», на мой взгляд, неправомерно. Это затемняет истинную суть указанного периода развития археологической науки в России.

В отличие от «винкельмановского», историко-бытовое направление в русской археологии (ассоциируемое обычно с именами И.Е. Забелина, А.С. Уварова, Д.Я. Самоквасова и др.) не имело сложившихся традиций, уходивших корнями в XVIII в. В области классических древностей предыдущие наработки антиквариетов изначально позволяли различать комплексы признаков, характерных для разных эпох и периодов. Основным предметом изучения являлась там отдельная вещь, которую необходимо было определить с точки зрения хронологии, стиля и относительной ценности на антикварном рынке. Разумеется, в археологии «народов, из которых сложилась Русь», такие наработки если и не полностью отсутствовали, то были весьма невелики. В силу этого здесь не мог сложиться приоритет изучения вещевого материала над исследованием его исторического и палеоэтнографического контекстов. Скорее, наоборот, в первые десятилетия развития историко-бытового направления на первый план выступало именно изучение контекстов, комплексов находок – с точки зрения их хро-

нологии, географической привязки и историко-этнографической реконструкции. Оно явно доминировало над исследованием самого вещественного материала, которого поначалу просто не хватало для серьезных обобщений.

Закономерным было и то огромное значение, которое поначалу придавалось археологами «историко-бытового направления» таким отделам науки, как русская палеография, нумизматика, фольклористика, изучение письменных памятников, изобразительных материалов из них и т. д. В 1850–1880-х гг. все эти данные, взятые в комплексе, формировали основу – необходимый хронологический каркас и исторический фон для отрывочных (пока еще!) археологических материалов.

4.3.2. Попытки определения археологии как науки в 1860–1870-х гг.: А.С. Уваров, И.А. Забелин, П.В. Павлов

Обилие заимствованных теорий и мнений, сформировавшихся на материалах других стран, явно опережало реальные, позитивные знания об археологических памятниках в России. Это необходимо учитывать, анализируя позицию **Алексея Сергеевича Уварова** (1825–1884), которому принадлежит первая серьезная попытка обобщения опыта и достижений отечественной археологии (Уваров, 1910).

Археология понималась Уваровым как «наука, изучающая быт народов по памятникам, <...> оставшимся от древней жизни каждого народа» (Уваров, 1878: 31). Тесная связь археологии и истории большинству исследователей казалась вполне очевидной. Термин «бытовая история» нередко вообще подменял собою понятие «археология». Однако сама по себе «бытовая история» воспринималась всё же не как органическая часть науки истории, а как особая, вполне самостоятельная отрасль знания.



А.С. Уваров в последние годы жизни

«Археология отличается от истории не предметом исследований, – писал А.С. Уваров, – а способом исследования. Этот способ обращает внимание не столько на вещественные памятники по преимуществу, сколько отыскивает во всяком источнике, как письменном, так и устном, ту *детальную* его сторону, которая раскрывает нам подробности, хотя мелкие, но иногда такие важные, что они кажутся как бы ещё живыми остатками древнего быта» (Уваров, 1878). Таким образом, речь идёт на практике об историко-культурной реконструкции, о поиске утраченных деталей культуры, причём вещественные памятники, найденные при раскопках, используются наравне с иными видами источников, в том числе памятниками языка и литературы. По представлениям того времени, археология органично включала в себя весь корпус вспомогательных исторических дисциплин (нумизматику, сфрагистику, палеографию и пр.). Подобный взгляд на неё разделяли граф А.С. Уваров, И.Е. Забелин, И.И. Срезневский, К.Н. Бестужев-Рюмин и др. Достаточно интересную и

развёрнутую характеристику основных категорий археологии в том понимании дал в своих работах **Иван Егорович Забелин** (1820–1908).

«Именем «археологический» обозначаются только такие памятники и факты, – писал И.Е. Забелин, – которые прямо указывают, что они есть произведение *единичного или личного* человеческого творчества <...> (курсив мой. – Н.П.). Археология в любом памятнике имеет дело, прежде всего, с творчеством отдельного лица, единицы, между тем как история даже и в творчестве единичного героя находит общие родовые силы и направления и очень справедливо почитает единицу только выразителем общих стремлений и желаний. <...> Наука археология имеет, как и наука истории, свой особый, определённый и самостоятельный предмет познания. Этот предмет есть *единичное творчество человека в бесчисленных, разнородных и разнообразных памятниках вещественных и невещественных* (курсив мой. – Н.П.). Основная задача археологии как науки, заключается в раскрытии и объяснении законов единичного творчества, в раскрытии и объяснении путей, по которым единичное творчество воссоздаёт творчество родовое или общественное <...>». По мнению учёного, археология должна была рассматривать как «материальную сторону угасшей жизни», так и «сторону умственных сил» и даже «действительность нравственную» (Забелин, 1878: 1–18).

Непривычная терминология и устарелая манера выражаться зачастую мешают ясному пониманию теоретических выкладок И.Е. Забелина. Их нередко цитируют, но не всегда уясняют до конца смысл сказанного. Между тем за устарелой манерой действительно кроются и глубокий смысл, и неординарный ход рассуждений, дающий немалую пищу уму (ср.: Ардашев, 1909: 74–75). Изначально Забелин задаётся вопросом: что такое археология? Наука ли это? Если предмет ее – «древность», то это понятие абсолютно *беспредельно* по своему содержанию. Признать археологию просто наукой о «древностях» означает «первородный хаос» в определениях. Памятники археологии бесконечно разнообразны; они разновременны, отрывочны, неполны. «Никто еще ничего не слышал», по мнению Забелина, и о каком-то особом «археологическом методе» (Забелин, 1878: 1–2). Поэтому, отдавая должное «ясному» построению естественных наук, ученый ищет точку опоры в философии и именно с этой стороны подходит к раскрытию проблемы. Тут-то и появляется в его рассуждениях ключевое для него понятие «творчества».

Все науки, по Забелину, разделяются на два больших «отдела». В первый входят те, что изучают «творчество природы» (естествознание). Второй отдел – науки, изучающие «творчество человека» (гуманитарные). С этой точки зрения все остатки человеческой деятельности, изучаемые археологией, однозначно должны рассматриваться как плоды человеческого творчества. Но и сами по себе они неоднородны. По мнению Забелина, тут следует выделять: 1) результаты «действия единичного, действия свободной человеческой воли»; 2) результаты «действия родового, произвольного, *которое становится как бы законом естества*».

Здесь мы видим, как ученый, можно сказать, ошупью, интуитивно, но вплотную подходит к рассмотрению той *подосновы* культуры, которая сделала возможными такие явления, как «тип» и «типобразование». Однако в дальнейших своих рассуждениях Иван Егорович делает поворот, для нас достаточно неожиданный. В его понимании «сила родовая, не сознательная и не свободная», управляемая «естественным законом» (sic! – Н.П.), является предметом исследования отнюдь не археологии, а *истории*, так как именно история изучает законы развития социума, диктующего человеку стереотипы поведения (у Забелина этот социум назван «государством»). Археология же изучает именно «частности и мелочи жизни, памятники личного творчества человека»; здесь «не может быть ничего неважного или менее важного, ничего недостойного <...> для наблюдения <...> Всякая мелочь и незначительность составляет здесь нить известного узла, которая одна, не найденная или отвергнутая, может затруднить изучение и рассмотрение самого узла <...>» (Там же: 10).

Таким образом, И.Е. Забелин демонстрирует чисто позитивистское, контовское понимание истории как «положительной» (позитивной) науки, исследующей непреложные законы развития общества, приравняемые даже к «законам естества». Об этой трактовке истории, очень характерной для второй половины XIX в., нам еще придется говорить, объясняя позиции Г. де Мортилье и его последователей. Однако в приложении к памятникам археологии И.Е. Забелин начисто отказывается говорить о «законах» и ограничивает сферу этой дисциплины, в сущности, описанием и изучением источников как таковых – иными словами, сбором информации, которая в дальнейшем пригодится для уяснения «законов» истории. «Единичное» и «родовое» творчество для него теснейшим образом взаимосвязаны: «Общественный организм есть высшая форма существования индивидуальной личности: в нем только она сознает свои силы, <...> свое индивидуальное достоинство» (Забелин, 1873: 6).

Основная задача археологии как науки, по Забелину, «заключается в раскрытии и объяснении путей, по которым единичное творчество воссоздает творчество родовое, или общественное, то есть историческое, в раскрытии и объяснении той живой, неразрывной связи, в какой постоянно находятся между собой творческие единицы и творческое целое рода или народа <...>» (Забелин, 1878: 17). Таким образом, археология и история находятся в том же соотношении друг с другом, как история *культуры* и история *общества*: «история культуры, в сущности, есть археология» (Там же: 6). В сущности, совершенно прав А.В. Жук, указавший, что у Забелина эти две дисциплины рассматриваются как, «говоря современным языком, два интерпретационных уровня в познании истории человечества» (Жук, 1987: 98).

А.С. Уваров, в отличие от И.Е. Забелина, не абсолютизировал «единичное» творчество, памятниками которого якобы являлись все найденные артефакты. По его мнению, в каждом памятнике отразились обе стороны человеческого творчества – и «личная», и «родовая». Говоря о художественной стороне находки, он использовал важнейшее понятие «стиля», разработанное на русской почве Н.П. Кондаковым (см. ниже), и определял его как «соединение тех характеристических признаков, которые составляют отличительный отпечаток произведений каждого самостоятельного народа и каждой особой эпохи» (Уваров 1878: 21–23). Понимание археологии как *истории культуры* («истории быта») роднило обоих исследователей. То, что археология – это, в сущности, наука историческая, утверждали они оба. Но для А.С. Уварова «изучение древнего быта по памятникам <...> народа» было, в сущности, неотделимо от исследования самого древнего общества или народа. Неизбежно возникало представление о *параллелизме* истории и археологии, изучающих разные стороны одной и той же исторической действительности и тем самым взаимно дополняющих друг друга. Таким образом, «соотношение истории и археологии приобрело вид соотношения путей или способов познания единого процесса исторического развития» (Жук, 1987: 100). Различие двух дисциплин А.С. Уваров искал в хронологии изучаемых событий (только археологии доступны времена, отстоящие от нас на «несметное число столетий!»), а также в особом «археологическом методе», существование которого начисто отрицал И.Е. Забелин. Справедливости ради стоит оговорить: сформулировать суть «археологического метода» более-менее внятно А.С. Уварову не удалось.

По мнению Н.Н. Ардашева, исследователя теоретического наследия А.С. Уварова и И.Е. Забелина, конечная цель исторического исследования виделась им обоим в воссоздании «нитей постепенного развития» народов и «пояснении общих законов природы, которые постепенно раскрывают нам первоначальную историю человечества» (Ардашев, 1911: 36–37). Но, на мой взгляд, в работах самого Уварова (в отличие от Забелина) трудно найти прямые указания на такое направление поиска. В целом создается впечатление, что влияние позитивистских идей на его творчество было минимальным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.